

Владимир и Владислав
Рышковы

ХЕРЪ

Триллер временных лет

Владислав Рышков

Владимир Рышков

ХЕРЪ. Триллер временных лет

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23984885

ISBN 9785448514814

Аннотация

Профессор филологии в канун революции и его правнук в наши дни последовательно взламывают код русской орфографии и код природы. И оказывается, что самая точная формула, описывающая этот мир, одновременно и самая лживая. Именно так: чем точнее, тем лживей...

Содержание

Глава первая	7
Глава вторая	10
Глава третья	27
Глава четвёртая	30
Глава пятая	34
Глава шестая	36
Глава седьмая	41
Глава восьмая	43
Глава девятая	47
Глава десятая	58
Глава одиннадцатая	77
Глава двенадцатая	81
Глава тринадцатая	83
Глава четырнадцатая	86
Глава пятнадцатая	89
Глава шестнадцатая	102
Конец ознакомительного фрагмента.	106

ХЕРЪ

Триллер временных лет

Владимир Рышков

Владислав Рышков

© Владимир Рышков, 2017

© Владислав Рышков, 2017

ISBN 978-5-4485-1481-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эпикриз

(Вместо пролога)

До Ближней дачи март так и не добрался. Он лишь перелистнулся первыми числами календаря, на том и замер. Всё здесь кончалось на исходе зимы. Дачник лежал на ковре близ чёрного кожаного дивана, неловко подвернув левую и без того немощную руку. Удар был силён, и сквозь кровь, фонтанчиками брызнувшую из не выдержавших тяготения капилляров в мозг и закрасившую желтоватые белки глаз, сквозь красную пелену Дачник видел мутное пятно окна, откуда должна была придти весна.

Он ждал грачей. Когда-то, в молодости ещё, маленькая картина гениального пьяницы защемила его своим будоражающим нервы мрачноватым ожиданием, разлитым над мокрыми деревьями, на которые садились чёрные птицы. Это была уже весна, но ещё потаённая, сакральная, не растоптанная толпой. Всё было впереди.

Товарищ Камо, с которым они уговорились пересечься в Третьяковской галерее, подальше от жандармских глаз, тогда не пришёл. Но настоящая встреча состоялась. Дачник носил этот образ в сердце потом всю жизнь. Он, как и весна, умел ждать своего часа, умел вовремя заслать своих вестников, а затем уже наступать так же необоримо, как время года, как рок. Но этот этап был менее всего интересен ему, как и сама весна в разгаре: красиво, но общедоступно, не будоражаще, не мобилизующе. Время грачей – вот чем жил он всегда, а теперь понял, осилил какими-то ещё не взорванными тяготением клеточками мозга, что уже не дождётя их, и что по-настоящему полно, до краёв, был счастлив в те полчаса, когда случайно остановился подле небольшой картины, под которой висела табличка с именем художника: «Саврасовъ».

«Хэр они уже прилетят, – уходящим промельком затухало в мозгу. – Хэръ... – успел он ещё выправить себя, подравниваясь под ту минуту, под те реалии, когда он был истово, а не приторно-вяло, как впоследствии, счастлив.

Так угасала последняя мысль Дачника на двадцать третьей букве «кириллицы», которую прилежно вызубрил под-

ростком в Горийском духовном училище. Теперь, выходило, пригодилась. Лицо дачника расправилось, отошло.

Это был твёрдый конец.

Глава первая

Самотёсов открыл ноутбук, нажал на выключатель, и пока лэптоп, лёгонько подвыив, отходил ото сна, достал из коробки диск и ввёл его в машинное влагалище. Внутри довольно заурчал моторчик, однако на дисплее ничего не происходило. Никаких обоев, никакой стрелки с маковским радужным колесиком. Только чёрный фон с мерцающим серебряным отливом. Не было даже белой пульсирующей дефиски в левом верхнем углу.

– Ну, давай, чёрт тебя глючит! – сказал Самотёсов машине и пощёлкал вводом. Что-то происходило. Вернее, не происходило того, что должно было быть непременно. У переносной технически здоровой железяки монитор молчал. Он просто застыл, не подавая положенных признаков жизни, и лишь тупо серебрился в дурацкой черноте.

– Эй, ты там умер, что ли?

Андрей откинулся в кресле, глядя в замешательстве на свой ноутбук. Впервые тот демонстрировал характер: находясь в железном здравии и твёрдом электронном уме, он не желал выполнять свою работу, будто закапризничавшая официантка в дешёвой кафешке.

Самотёсов уже с некоторой опаской наблюдал за переносным компьютером. Он знал и понимал его лучше, чем себя, ибо в своём мозгу он ощущал порою такие желания или

фантазии, которые могли бы истребить на корню любую программу – и на день, а то и на всю жизнь. Но у машины только два чувства: on и off. Она или жива и работает или просто торчит посреди стола мёртвым набором металла и пластмассы. неполадки в системе или различные вирусы – не в счёт, они привносятся извне, это, в общем-то, тоже ситуация off, но только по иным причинам.

Он знал об этой и подобной ей счётных машинах всё, там не было для него никакой тайны или предмета для размышлений о могущих выйти однажды из-под контроля человека «самодумающих» аппаратах. Какое там! Он называл свой лэптоп именно «счётной» бестией, вкладывая в это слово не столько понятие «счёт», сколько способность её считать то, что заложено в ней людьми. И не более того. Она могла виснуть, глючить, болеть вирусами, выбрасывать иные фортели, однако Самотёсов видел свою бестию насквозь, и то были неисправности не более загадочные, чем сломанная ось телеги. Другие «прикомпованные» склонны были возводить недуги своих аппаратов едва ли не в ранг мистицизма, видя в этом некий самобытный кристаллический характер, однако Самотёсов знал, что для какого-то норова кристалл именно что жидковат своей печальной неодухотворённостью.

Но вот случилось! Его лэп (включая машинку, Андрей, как правило, дурашливо напевал старый советский шлягер «ЛЭП-500 – непростая линия...», дальше он слов не пом-

нил про этих «ребят с семидесятой широты»), похоже, выпал на дурочку и явно быковал, зависая. Самогёсов понял это сразу и потому не стал, как поступил бы любой чайник, порхать пальцами по клавиатуре, елозить мышью по столу и суетливо материться. Он чувствовал, как в его душе вырастет ощущение неуверенного восторга, постепенно вытесняемое наплывом страха перед тем, чего не может быть. Впервые, с тех пор как он вступил в ускользающий лабиринт мира цифр, Андрей не знал, что ему с этим делать, ибо компьютер, совершенно чистый и исправный, не хотел подчиняться его воле. И было ясно, что никакие перезагрузки ситуации не изменят.

Глава вторая

Наверное, Андрюша Самотёсов родился гением. Такое случается. Уже в шестом классе учитель математики Ефим Эдуардович Шмаёнок говорил прилюдно: «Из этого школьника выйдет или вундеркинд или не знаю что». Проговаривалось это в некотором раздражении и по интонации было ближе к «не знаю что». Однако в душу Шмаёнка всё чаще закрадывалась пораженческая удручённость. Он чувствовал, что уже ничего не мог дать Андрюше как учитель, а пуще того – в качестве заслуженного учителя республики, какового звания Ефим Эдуардович удостоился пять лет назад. Вот в последнем и была особая закавыка.

Возможно, он по-прежнему знал больше своего ученика, ибо получил первоклассное столичное образование и регулярно почитывал все новинки. Однако в нынешнем учебном году в 6-Б классе его постигла настоящая педагогическая драма: Андрюша Самотёсов мыслил не просто быстрее заслуженного учителя и не просто лаконичнее и даже изящнее, это был иной уровень постижения цифр. За пять лет учёбы в МГУ и тридцать лет преподавания Шмаёнок такого уровня не превозмог и превозмочь уже не мечтал.

Среди сотен бывших его учеников неизменно попадались талантливые школьники, и Ефим Эдуардович, следя за их дальнейшими успехами, тихо и искренне гордился ими, ибо

то были птенцы его, Шмаёнок, гнезда. Теперь он ловил себя на мысли, что Андрюшей Самотёсовым, двенадцатилетним пацаном, он никогда не возгордится. Рядом с ним он не чувствовал себя не то что бы учителем, педагогом, интеллектуалом – это бы он ещё смог пережить, он не ощущал себя заслуженным учителем, неким избранником, гуру, поскольку отчётливо завидовал необыкновенному дару своего ученика, что было недопустимо даже для начинающего педагога. И то был крах его внутреннего табеля о рангах, его жизненной успешности в этом строго пронумерованном мире. За полгода Шмаёнок сильно сдал внешне: похудел, дышал с надсадом, хотя никогда не курил, начал пить пиво «Балтика», узнав этот бренд из телерекламы. Прежде он не употреблял ничего крепче минеральной воды и закатывал глаза, когда коллеги в учительской справлялись о его здоровье.

Но однажды прямо посреди урока он резко встал со стула, который шутливо называл своей кафедрой, решительно направился в районо и записал Андрея Самотёсова на ближайшую олимпиаду по математике среди старшеклассников. Это был поступок, который тут же внутренне вернул Шмаёнка в ранг заслуженного. Мужчина сумел подвижнически возвыситься над собственным эго. Воротясь домой, он с радостным облегчением убрал в помойное ведро непечатую бутылку «Балтики», словно сбросив с себя добровольную схиму. Шмаёнок так и не ощутил его вкуса и вообще не понял смысла того прикола, когда цифры, столь ясные и чёткие, начи-

нают как бы расплываться в голове и терять основательность под воздействием хмельного напитка. Поэтому он окончательно предал пиво анафеме как явление непедагогическое и даже антинаучное.

А для Андрюши Самотёсова началась олимпиадная страда. На «районке» он управился с заданиями в пятнадцать минут. Пока остальные участники, все – старше Андрюши минимум четырьмя годами, только по-настоящему включались в изучение вопросов, он уже тянул руку с просьбой сдать свои листочки. Председатель комиссии, искушённая в олимпиадах дама, подошла к нему, погладила утешительно по упрямым, жёстко произраставшим волосам и слегка подтолкнула к двери.

«Эх, Шмаёнок, Шмаёнок, – подумала она, возвращаясь на место. – Не тот уже Шмаёнок, теряет нюх».

На первом листке обозначились какие-то мелкие и небрежные каракули, которых и не разглядишь без очков, а остальные тетрадные страницы голубели девственными клеточками.

Однако Шмаёнок не зря полгода изнурял себя пивом. Когда председатель водрузила на нос очки с немалыми диоптриями, на неё вдруг обрушились те эмоции, которыми маялся в одиночку Ефим Эдуардович. Все четыре задания были выполнены, ответы сходились с книжными в точности. Однако, вопреки традиционным и практически уже узаконенным решениям, занимавшим чуть ли не три книж-

ные страницы, Андриюшины выводы с правильными ответами уместились на одном неполном рукописном листке. Пред учёной дамой лежала работа сверх даже профессорского уровня. Ни один доктор наук, ни один высокоучёный автор учебника, по которому необходимо было равнять знания подрастающих математиков, не мог и помыслить о подобном. Это была тонкая, моцартовского изящества алгебра, управляемая какой-то иной, запредельной, не доступной ещё математике гармонией. Дама взглянула на дверь, только что закрывшейся за шестиклассником, и ей казалось, что в неё только что выпорхнул ангел.

«Ну, Шмаёнок!» – вновь почему-то подумалось даме, однако без давешней укоризны, а с какой-то изумлённой грустью.

Теперь молва в определённых кругах побежала впереди событий. На городской олимпиаде, а город-то был не какой-либо, а Москва, Андриюшу Самогёсова ожидали словно некоего математического мессию. Явились и апостолы – несколько молодых, но уже крупно остепенённых учёных, заключивших между собою пари, кто из них быстрее и удалее Самогёсова решит предложенные задачки. Они сидели в президиуме среди комиссии, несколько возбуждённо переглядывались и пересмеивались промеж собой. Лучи солнца из окна втыкались в досрочные залысины и проплешины, образуя над умными головами размытые в пыльном воздухе нимбы.

Между тем в аудиторию запустили соискателей: с полсотни очкастых и лобастых парней, несколько нескладных старшеклассниц и среди прочих – хотя он был, конечно, прямой, а остальные лишь непременно статистами, – Андрюшу Самотёсова. Математические авторитеты, цепко вглядываясь в Андрюшину, пока что вовсе не маститую, а откровенно детскую, фигурку, доставали блокноты и ручки. Они играли по-джентльменски, собирались узнать задание вровень со школьником. Конверт был вскрыт ровно в девять утра, задание раздали, и время пошло.

Апостолы решали детские для них задачки, пытаясь всё же найти в них некую игру или игривость для ума, и через пятнадцать минут уже покончили с нехитрым делом, зная, что именно такой срок задал прошлым разом школьник Самотёсов. Теперь они с доброй улыбкой взирали на него, видимо, вспоминая и своё, ещё совсем недавнее, математическое детство, уже понимая, что все вундеркинды со временем становятся ординарными профессорами, докторами наук, вливаясь в многочисленное семейство учёных России. Время Гауссов и Лобачевских, к сожалению, давно минуло.

А Андрюша всё морщил лоб, чесал в затылке, потом быстро что-то чёркал на тетрадных листках, не торопясь сдавать задание. Шла тридцать пятая минута с начала олимпиады, когда он, наконец, поднял руку и подошёл к столу.

– Можно сдать? – спросил он для порядка, сам себе кив-

нул головой, как бы разрешая, положил задания и вышел в дверь.

Первым просмотрел странички в клеточку председатель комиссии. Пролистнув их туда-сюда несколько раз, он молча выдернул из кармана подрагивающей рукой носовой платок, тоже клетчатый, ядрёно высморкался в него, затем вытер им же лоб и только после этого пустил Андриюшину работу по рукам авторитетов, не решаясь посмотреть им в глаза.

Через несколько минут молодые люди встали, рассовали свои блокноты и ручки по карманам и, не прощаясь, по-английски покинули президиум. Нет, они, конечно, готовы были нести Андриюшину матвесть обществу и миру, однако не понимали её главных постулатов и не умели не только их объяснить, но и осмыслить: три положенные правилами задачи были решены Андриюшей Самогёсовым тремя способами каждая, и все они несли какую-то новую идею, суть которой казалась прозрачной и убедительной до мурашек на спине, но никак не поддавалась привычному анализу. Это был свежий вихрь цифр и уравнений, сметавший ветхие заготовки молодых апостолов, как осенний ветер срывает листья, превращая их в мусор.

У входа апостолы вяло пожали друг другу руки и без слов разошлись. Говорить, конечно, было о чем. Но профессионалы – тоже люди. И у них иногда чувства развеивают в пыль интересы, стоявшие дотоле несокрушимо и превыше всего. Молодые люди понимали: как бы горячо они ни обсуж-

дали сейчас произошедшее и как бы подробно ни вникали в суть ошеломительной работы тринадцатилетнего пацана, они неизбежно снова и снова станут приходить к тому, что так и не будет озвучено. Они давно осознали, что мессиями в научном мире им не стать, и в общем-то легко с этим смирились. Теперь же они видели, что и быть апостолами дано не каждому, и этот удар нужно было ещё пережить.

О том, чтобы по старинке распять лжепророка речь не шла: фарисеями молодые учёные себя тоже не мыслили. Дальнейшая судьба их неизвестна. Не каждый в этом мире может справиться с обрушившимся на него чужим талантом и живёт так же доблестно и педагогично, как мудрый Шмаёнок.

Андрюша же об этих борениях и рушившихся судьбах не знал, однако некое напряжение, создавшееся вокруг него, ощущал и вовсе не хотел быть обезьяной в клетке, на которую все указывают пальцем. Он пытался было объяснить после урока в коридоре учителям спецшколы с глубоким математическим уклоном, куда теперь его определили, что всё очень просто, что на самом деле тут и делать особенно нечего, что в учебниках всё сложнее и запутанней: вот смотрите...

Но учителя при этих последних словах как-то резко отодвигались от Андрюши, крутили головами и заметив идущего навстречу коллегу, радовались тому как избавителю:

– Минуточку, Артём Иванович, я как раз хотела с вами...

извини, Андрюша...

Андрюша оставался в коридоре один, начиная понимать: то, что у него рождается в голове, почему-то не приносит людям радости.

Тогда он решил их рассмешить, и на всероссийской олимпиаде, которая проходила в холодном Новосибирске (дело было уже в восьмом классе после зимних каникул), чудил напрапалу. Зная, что все взрослые дяди и тётки, сидящие напротив учеников за длинным столом, неотступно, хотя вроде бы и вскользь, как бы ненароком, наблюдают за ним, Андрюша то прыскал со смеху, то дурашливо хлопал себя по макушке, то хитренько щурился и всё писал и писал – листок за листком. Когда бумага закончилась, он, подняв руку, попросил ещё, и тут уж весь зал, отвлѣкшись, уставился на него. А он, не обращая ни на кого внимания, продолжал свои потешные, как ему казалось, экзерсисы.

Наконец он закончил, взглянул на часы – до конца отведенного времени оставалось ещё минут двадцать, как он и планировал – поднял руку, сдал работу и вернулся на своё место. Он хотел убедиться, что его шутку поймут, расслабятся, и всем будет хорошо.

Председатель комиссии, бывший представителем местной мэрии и ни черта не смысливший в математике, вяло пролистал работу, взвесил её на руке и, действительно, улыбнувшись ободряюще Андрюше, передал сочинение заместителю.

Тот неторопливо и вряд ли вежливо вырвал листки из рук городского чиновника, машинально взялся левой рукой за сердце и принялся читать. Это был крупный седой человек в выношенном, но аккуратном костюме, слывший легендой среди учителей-математиков страны. Он был, как и Шмаёнок, заслуженный, к тому же награждённый ещё в советское время двумя не последними орденами. А главное – среди его питомцев, возвращённых за сорок пять лет учительствования, было не счесть научной элиты. К семидесятилетию, которое он отпраздновал полтора года назад, ему прислали поздравительные адреса не один десяток профессоров, членов-корреспондентов и даже двое действительных членов академии наук. Немаловажно, что среди поздравлявших лично были и двое тех самых апостолов.

Вот почему сегодня он был здесь, прилетев в далёкую Сибирь, желая лично, не через вторые руки и не по слухам, увидеть, как рождаются Андрюшины опусы. Казалось бы, изучив предыдущие работы Самотёсова, он был готов ко всему. Но нынче, глядя на кипу исписанной бумаги, сердцем чуял: Шмаёнковский выкормыш снова выбросил штучку. А главное – он окончательно понял: этот новый русский киндер-сюрприз пустит-таки по ветру всё, что он создал за долгие годы, потому что никто из его учеников – один маститее другого – и рядом не стоял с этим московским восьмиклассником. И те вправе теперь не сказать, конечно, но подумать: а готовил ли он их к таким вершинам и стоит ли поздравлять

своего учителя к следующей круглой дате?

«Если, впрочем, доживу», – криво усмехнулся старый учитель.

Однако он был педагогом по призванию, даровитым в своё время математиком и потому заставил себя успокоиться, настроившись на рабочий лад, когда смог наконец вчитаться в Андриюшино сочинение. А то, что это было именно сочинение, причём в оригинальном жанре, он понял сразу: нечто, напоминающее музыкальную юмореску, шутку гения.

Андрюша баловался, скоморошничал с уравнениями, ухарски растягивал их, как меха гармони, переливал из пустого в порожнее, вновь возвращался к началу, потом бренькал ими, как виртуоз-балалаечник, рассыпая вроде бы аляповатые, но точные коленца, подкрадывался, казалось, к завершению, но вновь принимался за него, как кошка за хвост рыбы, – игриво и в то же время хищно, доходил так до начала и вновь отбивал чечётку, выплясывал кадрили, водил плавную барыню.

«Он играет с цифрами, как кошка, – подумал седовласый и враз почувствовавший свои годы учитель. – Именно как молодая кошка с полудохлой мышью».

И он не знал, чего больше было в этом сравнении: неприязни, сомнения, удивления или какого-то безотчётного страха.

Конечно, он мог бы легко, только своим авторитетом,

спрессовать и этого дурачка из мэрии, и своих коллег, объявив работу Андрея Самотёсова хулиганской выходкой, пустым баловством, недостойным олимпиады общенационального уровня. Однако он чувствовал, что не поступит так. Делу этим не помочь: новые неслыханные уравнения школьника – уже свершившийся факт, к тому же члены комиссии... Не все они ведь такие неучи, как председатель, ещё сочтут его за стареющего потерявшего нюх или совесть завистника. Он уже знал, что объявит (за что мне это, Господи!) Самотёсова победителем.

А Андрияша с надеждой наблюдал за стариком в президиуме, читающим его работу. Тот был в больших роговых очках, его мощный морщинистый лоб покрывался бисеринками пота, а левая рука поглаживала лацкан пиджака. И уже тогда Андрей начал догадываться: то, что он умеет, может быть, и необходимо для какой-то абстрактной, как сама математика, науки, однако почему-то сильно мешает конкретным людям, с которыми он общался.

А потом прозвенел звонок, школьники потянулись сдавать работы, и всё закончилось.

Последней в Андрияшиной карьере вундеркинда стала всемирная олимпиада в далёкой и жаркой австралийской Аделаиде. Летели туда долго, с двумя посадками, последние несколько часов – над необозримой гладью океана. Она была совершенно пустынной, блестящей под солнцем, как лакированный стол, и казалась бессмысленной. Но то бы-

ло обманчивое впечатление. Просто существовала иная проекция: в отличие от земной тверди, обращённой к солнцу всеми своими горами, лесами, долами и людьми, океан был опрокинутым, вывороченным во тьму марракотовых загадочных бездн миром. С замирающим от жутковатого и сладостного восторга сердцем Андрюша представлял, как легко его воздушный корабль в случае незначительного сбоя цифр, исчисляющих работу машины, может сорваться из голубой прозрачной стратосферы в мрачную, гибельную своей непомерной тяжестью воды и отсутствием кислорода батисферу. Он впервые летел самолётом, и путешествие это ему нравилось.

В Аделаиде Андрюша почувствовал, что не зря преодолел почти всю географию. Здесь, на краю, на периферии Земли ему дышалось как-то легче. И дело было не в лёгком и очищающем океанском бризе. На него никто не показывал пальцем, никто не хмурился и не морщил лоб при встрече с ним. Напротив, толпа местных репортёров, зацифровавших его с ног до головы сразу же по прилёту, была весёлой, хотя и навязчивой, но доброжелательной компанией. Андрюше задавали вопросы, он отвечал на них обстоятельно, его вежливо выслушивали, не перебивая и не пытаясь, как в школьном коридоре, улизнуть. «Может, это потому, что они слабо разбираются в математике?» – подумал сперва Андрюша.

Однако так было везде. И уже в конференц-зале огромного отеля, где проходила олимпиада, он полностью рассла-

бился, потому что не ощутил в президиуме никакого напряжения, и никто не следил тяжёлым взглядом за ним. До момента оглашения результатов здесь все были равны. Поэтому Андрюша спокойно, ощущая даже некоторую рутину, в десять минут расправился с простеньким, как ему показалось, заданием, ещё минут пять посидел для приличия, разглядывая своих африканских кучерявеньких, азиатисто-раскосых, по-американски толстых и очкастых конкурентов, а затем поднял руку.

– Не будет ли каких-либо дополнительных заданий? – вежливо осведомился он.

– Нет, сэр, – слегка улыбаясь, пояснила молодая чернокожая женщина, профессор Аделаидского университета, председательствующая здесь, – правилами всемирной школьной олимпиады это не предусмотрено.

Тогда Андрюша подошёл к столу, положил на него свою работу, слегка поклонился и неспешно направился к двери. Никто не буравил его спину взглядами, все были заняты своими делами: участники решали задачи. Комиссия приглядывала за процессом.

Андрюша мягко прикрыл за собой дверь и тут же, сорвавшись с места, помчался в номер. Там он скинул свой элегантный костюмчик, специально к олимпиаде пошитый в Москве даровитым закройщиком, натянул плавки, надел джинсы и футболку, и так же бегом ринулся к пятидесятиметровому бассейну. Тот был наполнен тёплой океанской во-

дой, не вонял хлоркой, а пах экзотикой и приключениями.

Здесь он провёл часа три, ныряя до самого дна бассейна, плавая наперегонки с ребятами и болтая с местными девчонками в симпатичных ярких бикини. Никаких проблем с общением у Андрюши не было с той поры, когда в четвёртом классе начались уроки английского. Правда, едва освоившись в чужом наречии, он подошёл к своей матери и спросил:

– Ма, зачем учить английский, если он похож на разговор чукчей?

– Ты имеешь в виду грамматику? – сразу поняла его мать, читавшая в университете курс языкознания.

– Ну! – обрадовался понятливости матери Андрей. – Какая-то примитивная фигня.

– Нет, сынок, это не фигня. Эта примитивная грамматика, видишь ли, нанизала на себя колоссальную семантику, спаяв к тому же кельтские, германские и романские языки. Советую учить. – Мать никогда не давила на Андрюшу, только советовала.

Тогда он мало что понял. Он просто схватил влёт на самом деле простейшую, почти примитивную, по сравнению с русской, конструкцию языка и затем, как на шампур, стал нанизывать на неё словарный запас. Примерно по пятьдесят слов в два дня: сперва заучивал, а на следующий день повторял слова, намертво забывая их в прожорливую молодую память. Теперь, через три года, он уже подбирался к уровню Окс-

фордского словаря, хотя произношением пока не блистал, да и разговорной практики не доставало.

– Ты откуда? – спросила его высокая тонконогая и светло-волосая девчонка, вынырнувшая у его ног из океанской воды. Она легко взобралась на бортик и села так близко, так плотно к Андрюше, что у того ёкнуло сердце.

– Из России.

– О! – удивилась девчонка, однако не отодвинулась. – Да-леко, холодно!

– А у вас – кенгуру, – нашёлся Андрюша.

Девочка улыбнулась. Верительные грамоты были вручены.

– Поплыли? – предложила она.

И сразу нырнула, долго не показывалась из воды, а затем, будто взлетев, рыбкой перемахнула бассейн. Андрюша даже и не думал с ней состязаться. Он только пытался по привычке выследить алгоритм её движений, но не успел. Всё было слишком мимолётно. Девчонка махнула ему рукой и через весь бассейн крикнула.

– Эй, в Британии не водятся кенгуру!

Рассмеявшись, она скрылась в девичьей раздевалке.

Андрюша тогда ещё не знал, что с жителями туманного Альбиона всегда нужно держать ухо востро.

И только потом, уже юношей, попробовав впервые виски, оказавшимся к тому же длительно выдержанным в дубовой бочке из-под мадеры, Андрей понял фишку: джентльме-

ны, которые умеют превращать суррогаты в мировые бренды, неодолимы. Язык, выстроенный на весьма примитивном каркасе, и напиток, в основе которого был дремучий самогон, стали неотъемлемой частью общечеловеческой тусовки. Процесс превращения бомжа в хозяина жизни требовал осмысления.

Но то было шестью-семью годами позже, а нынче, в Аделаиде, получив звание победителя всемирной олимпиады, Андрюша стал патентованным математическим вундеркиндом. Ему тут ещё, в номер, притащили, видимо, загодя согласованное приглашение на учёбу в местный элитный колледж, чуть позже подсуетились на эту же тему американцы и те самые англичане. Лучшие, самые крутые учебные заведения Европы, Америки и пятого континента простирали к нему свои солидные, респектабельные объятия, против которых обычно не могли устоять и дети принцев по крови или баблу.

А вот Андрюша отказался напрочь. И не потому, что боялся оторваться от родной домашней пуповины. И не оттого, что не хотел более углублённого изучения математики, поскольку и без того углубился в неё дальше некуда.

Просто... Просто Андрюше стали по фигу все эти математические пустопорожные экзерсисы. Ему было неинтересно, потому что решения давались слишком легко, они будто сами выпархивали из его сознания, потревоженные лишь небольшим усилием воли. И сколь были бы поражены все ис-

страдавшие его учителя, молодые апостолы от науки, которым он застил горизонт, и журналисты, бравшие у него интервью, и те джентльмены, что звали его в престижные школы, когда бы им было дано знать: Андрюшу не занимала ни наука, ни его место в ней. Цифры ему были нужны совсем-совсем для иного. Как всякий подросток, он тщился познавать мир, в котором вдруг очутился, однако копал при этом так глубоко, что порою ему самому было жутковато заглядывать в открывающееся бездонное жерло своей скважины. Теперь он знал, на что это похоже: тот самый сладкий затягивающий ужас, когда под рёв авиамоторов представляешь, как твой самолёт срывается с небес и уходит в мрачные глубины океана.

Глава третья

Андрей приоткрыл дверь своего кабинета. Выглянул в огромную овальную приёмную.

– Генка у себя?

– Минут двадцать назад выскочил. А что? – спросила Хахуня.

Не глядя на неё и не всматриваясь в её изящные формы и стильную обстановку приёмной, хотя и та, и эта были предметом его особенной гордости, Андрей сказал:

– Открой его хижину. Я сейчас подойду.

Он вернулся к своему столу, вынул из ноутбука диск и, обтекая бережно пальцами вокруг ободка, так и понёс его через комнату, через приёмную на вытянутой руке, словно нечто драгоценное или же предельно опасное. Здесь, в кабинете его единственного, не считая Хахуни, подчинённого стоял самый последний до отказа утрамбованный наворотами «Мак», пребывавший к тому же в идеальной боевой готовности. Генка дело своё знал.

Андрей с изрядным мандражом в области солнечного сплетения запустил макаку, как они называли этот смышлённый и очень резвый аппарат, и бережно вложил диск в приёмник.

Однако ничего путного из соперничества человека и машины вновь не вышло. Просто они оба впадали в ступор:

сначала макака, беспомощно и как-то даже испуганно-суетливо серебрясь пустым монитором, а затем и Андрей, глядевший на экран такими же пустыми глазами. Поскольку не человек произошёл от макаки, а, вопреки Дарвину, – наоборот, то он и знал больше электронной обезьяны. Андрей знал, например, что цифра никогда не лжёт и не уходит в отказ, как нервная фотомодель на фотосессии, и что если такое всё же происходит, то объяснения этому просто не существует.

А потому он вынул диск, вновь бережно обтёк его пальцами и вместе с ним на вытянутой руке и невидящим взглядом на потухшем, словно вырубленный монитор, лице проследовал обратно в свой кабинет.

Хахуня не проронила ни звука. Андрей вновь включил лэптоп, дождался картинку, выдвинул приёмник, вложил в него диск и малодушно вперился в лежащий справа и давно уже не нужный коврик, где его суперсовременная мышь заблудилась среди доисторического соснового леса, в котором бродила парочка огромных динозавров. Андрей с каким-то особым чувством относился к этому не просто вечнозелёному, а, получалось, вечному дереву, в котором ощущались и дикая первозданная дерзость, и современный биологический драйв. А в динозаврах он открывал для себя какую-то несегодняшнюю основательность: эти нелепые животные протоптались на земле десятки долгих миллионов лет, человек же после каких-то шести тысяч лет осознанной био-

графии уже вовсю готовился к Армагеддону. Так какой же проект был более удачен?

И тут краешком глаза Андрей почувствовал, что дисплей вдруг ожил. Именно не углядел, а почувствовал зрением, как воскресало, оживая, то место, где находился экран. Оно уже не раскрашивалось вяло изнутри мёртвым кристаллическим подсвечиванием, как бывало всегда. Дюралевая рамка наполнялась упругим воздухом и тем горячим светом, какие нам дано ощущать лишь ранним перламутровым детством. А потом открылись запахи – чистые и нежные, в которых смешивались ароматы трав, тёплой материнской щеки, весны, земляничной поляны и чего-то ещё, неуловимого, но щемяще знакомого.

И Андрей вдруг задышал этим воздухом, этим теплом и этими запахами, ощутив ту бессмертную лёгкость и тот беспричинный восторг, какие наполняют нашу кровь только в самом нежном возрасте. Словно кусочек рая задел его своим крылом.

Глава четвёртая

Получалось так, что маленький Андрюша уже с младых ногтей выражался словами, а думал числами. Сначала он зацифровал понятия, раньше остального человечества и ещё практически в младенческом возрасте осмыслив, что мир легко упаковывается в цифру, а затем в общении с окружающими уже цифры переводил для них в понятные слова. Его же самого не жёг глагол, его жгли числа.

Мать Андрюши, по профессии лингвист, конечно, твёрдо веровала, что «в начале было слово», а потому дивилась сыну, однако ж в процесс не вмешивалась. Будучи женщиной ещё молодой, по-настоящему красивой, она обладала и достаточным умом, и педагогическим опытом, чтобы не мешать там, где проблема неясна. Хотя, конечно, некая тревога за Андрюшу присутствовала всегда.

– Чисто зубы и ложись спать, – напоминала она.

– «Пять», – соглашался Андрюша и шёл чистить зубы.

– Мой руки и садись есть, – звали его.

– «Шесть», – повторял Андрюша, тщательно умывая в ванной руки душистым детским мылом.

Он рос послушным мальчиком.

Сначала цифры, обозначавшие слова, выщёлкивались из сознания как бы играючи, иногда в рифму, порою по каким-то ему самому не ясным ассоциациям. Попервах сло-

варный (цифровой) запасец был невелик, охватывая те неширокие интересы, которыми жили малыши. Когда же пришло время осмысливать этот таинственный мир, всё более и более расширявшийся, когда Андрюша стал вырастать из тёплого и уютного круга близких людей, его поразил гул огромного и бессмысленного в своей суете окружающего пространства.

Андрюша оробел, уже понимая, что в нём легко затеряться, утратиться, рассосаться – только вступи в спешащую, пересекающуюся, снующую толпу, назад пути уже не будет. И станешь вырываться из неё – в привычной квартире, в своих книжках, прятаться под простынёй – тавро толпы уже не изгладится, не затрётся, не замоеется, как одноразовое тату. Он не имел в виду тогда социальный аспект, да и не знал ещё такого – толпу как мечущуюся нужду. Оно было везде: выходило из обшарпанной пятиэтажки или из банка, выглядывало из лимузина или такси, сидело на заседании правительства – лицо из толпы. Андрюша вовсе не рос засахаренным вундеркиндом, не становился мизантропом, не страдал повышенными понтами, напротив, он был скорее не по-мальчишески собран, если даже не аскетичен, чувствуя в себе что-то такое, что должен сберечь и, не расплескавши, не забодяжив, донести до ближнего, пока толпа своим усреднённым, жёстким, словно наждак, правилом не заточит его, как папа Карло – Буратино.

Андрюша шифровался. Эту открывшуюся жизнь он обо-

значил числом 1, а смерть стала нулём, зеро. Никто не знал, что такое жизнь и что такое смерть. Числа же были точны, неоспоримы, окончательны. В отличие от слов, они не грешили синонимичностью, ускользающей расплывчатостью, приблизительностью. Как правило, у взрослых – Андрюша это рано понял – слова служили как раз для того, чтобы замутировать смысл, сделать его неясным и вообще задвинуть куда-то вглубь, как выщербленную вазу задвигают в тёмный угол трюмо.

Однажды отец зашёл к Андрюше в его комнату, рассеянно полистал книгу, которую тот читал, огляделся по сторонам, будто впервые забрёл сюда, и наконец сказал:

– Бабушка в этот раз не приедет.

– Почему? – спросил Андрюша. Он был привязан к отцовской матери, бабушке Варе, – лёгкой доброй уютной и ещё не старой женщине, жившей в далёком древнем Муроме.

– Её больше нет. – Слова отца звучали тяжело и обречённо, однако сами они смысла не проясняли. Ведь понятно: не может не быть того, что было. Оно способно лишь изменить свою сущность, превратиться во что-то иное, стать просто зеро, но не исчезнуть. Ноль, известно, тоже цифра, но существует, обозначая то, чего нет. Сам по себе он олицетворяет наличие отсутствия... Тут был ещё иной план, который другие, и даже взрослые, люди не понимали, а Андрюша знал.

– Она есть, – сказал он отцу. Негромко и без вызова. Про-

сто констатируя.

Отец устало взглянул на него, погладил по голове, прижал легонько к себе, и Андрюша слышал, как гулко стучало отцовское сердце в какой-то особой тишине, установившейся этим вечером в их доме.

Тогда и возникла цифра 10 – «боль». Зеро в соединении с единицей, символизирующей жизнь, давало боль. В тот вечер судьба впервые для Андрея угодила в десятку, однако он уже и прежде знал: если всех живущих на земле считать одной командой и одеть в одну форму, то и номер у всех будет одинаковый – 10. Потому что боль сопутствовала, а, вернее, конвоировала человека всегда: сильнее, слабее, она жила в подсознании или выбиралась наружу ноющим зубом, разбитой коленкой. И вот теперь, после смерти бабушки Варе, болела какой-то пустотой, образовавшейся в самой сердцевине Андрюши. Он уже сознавал, что боль оставляет человека в покое только когда цифра 10 превращается, теряя единицу, в ноль. Зеро – цифра-призрак, существующая без собственных плодов, однако, как и мёртвая вода в сказках, абсолютно необходимая для сочетания, для жизни иных цифр, только и могла объяснить отсутствие человека на земле. Никакие слова прояснить этого, столкнуть, как цифры, жизнь и нежизнь в одно целое не могли.

Так, с помощью чисел Андрюша учился постигать мир.

Глава пятая

Кусок иной жизни размером с форточку, врубленный в этот огромный, измеряющийся миллионами парсек, бушующий здесь, на Земле, необозримыми океанами, сияющий блёстками недостижимых звёзд, мир заставлял его сжиматься, скукоживаться и вовсе сходить на нет. Экран ноутбука засасывал в себя могучим и непреодолимым зовом. Могучим своей неотвратимостью и неодолимым своей нежностью.

«Интернетище!» Самотёсов погружался в бездонный кайф, лёгкий и высвобождающий, лишённый оков гравитации и деспотизма времени. Пространство тоже не имело теперь значения, потому что он покидал и эту комнату, и этот город, и этот мир, уходя в открывшийся омут нездешнего интернета, будто вторично рождаясь, теперь уже в сознательном возрасте переживая все моменты этого запуска. Однако, в отличие от гинекологического кресла, откуда он стартовал 23 года назад, ныне Самотёсов оставался на своём излюбленном тёмно-зелёной кожи офисном троне. Это было ново, это было неслыханно, это было чудовищно: чтобы добраться туда, куда не забредала и человеческая даже мысль, не нужно было никуда двигаться. Это был драйв!

И хорошо, и хорошо, что Самотёсов крепко сидел на зелёном кресле, потому что внезапно вернувшаяся гравитация вдруг грубо швырнула его, плюща о кожаное нутро, стуча

в голове вновь противно затикавшим временем, катастрофически сжав пространство до одиночной камеры его кабинета. Именно одиночество было первым ощущением Андрея, словно он не вернулся из нездешних пенат домой в свой любовно обустроенный офис, где за стенкой сидела красавица Хахуня, туда, где под одной крышей пятикомнатной квартиры жили вместе с ним его родители, где шумела Москва – лучший город на земле. Всё было наоборот: остро заточенное лезвие гильотины, что сторожила границы нездешнего интернета, будто отсекала некую пуповину, напрямую связавшую его с...

Впрочем, пояснить это словом или словами, или даже всем словарным запасом человечества было невозможно. Однако и числа тут теряли смысл, он впервые не смог зацифровать то, что ему открылось: не единица то были и не ноль, и не десятка.

Потом он разобрался кое в чём, насколько ему было дано, осмыслил свой кризис, который длился, кажется, от одного удара пульса и не достигнув другого, то есть ровно несколько, если судить по земному времени. Однако то было позже. А ныне его ноутбук, выступавший с некоторых пор в оригинальном жанре, как бы соло, вновь готовился выдать новый файл, которого не существовало в природе. Во всяком случае, не был создан человеком.

Глава шестая

В десятый класс Андрюша не пошёл, договорившись о сдаче экзаменов экстерном. Директриса, та самая дама, что председательствовала на первой для Андрюши олимпиаде, женщина многоучёная и романтическая, по-прежнему видела в этом подростке стройном паренёке с густыми чёрными волосами некоего матангелочка, спорхнувшего с небес на грубую приземлённую школьную парту.

– Да, да, – только и сказала грустно она. – Конечно. Зачем тебе...

А потом прибавила:

– Не забывай нас, пожалуйста, Андрюша.

И с тех пор Андрюша вольным стрелком зарылся в Интернет, желая познать его бездонное нутро. Месяца через два отёчного сидения за компьютером он отчётливо ощутил это нутро: если оно и отличалось чем-то от болтливой и языкастой бабы, то только количеством набитой в него информации. Это была сточная канава цивилизации. А ещё Интернет являлся лобным местом человечества, где любой мог пролить не видимую прежде миру слезу, выбросить накопившийся втуне адреналин или даже мастурбировать – электронная паутина демократично принимала в своё лужёное нутро всех и вся.

Конечно, как всякий пацан, Андрюша заинтересовался

компьютерными играми, в основном военными, где вновь и вновь разыгрывались сражения давно отгремевших войн. Алгоритм их он схватил сразу и потому был непобедим, словно Суворов или Наполеон, в зависимости о того, чью сторону на этот раз принимал. Так что интрига исчезла сразу, однако ему ещё какое-то время нравилось водить в атаку послушные легионы или батальоны, конницу или танки, которые были вырисованы тщательно и с тонким соблюдением малейших деталей военной экипировки и вооружения. В общем, с детством Андрюша ещё, слава Богу, не расстался.

Однако уже к тому времени он знал, что мыслит иначе, чем большинство людей, и теперь постигал эту разницу. Помогли ему тут два известнейших и вроде бы затёртых до дыр персонажа – Шерлок Холмс и Ниро Вульф. Первым он прочёл, конечно же, Конана Дойля. И хотя его Холмс был симпатичным джентльменом, а байки о нём довольно занимательными, индуктивный метод сыщика не произвёл на Андрюшу особого впечатления. Слишком долго и, как ему казалось, втупую Холмс изучал детали, гордился этим своим умением и даже подтрунивал над ненаблюдательным беднягой Ватсоном. На самом же деле знаменитый сыщик был слеп, глуповат и потому так долго и нудно складывал из отысканных мелочей целостную картину преступления.

А уж на фоне Ниро Вульфа Холмс и вовсе предстал неким лузером в постижении сути вещей. Рекс Стаут оснастил своего героя принципиально иным способом мышления –

дедуктивным, который предполагал постижение проблемы в целом, её алгоритма, что позволяло толстяку, не вставая с кресла, распутать любую загадку. А для сбора улик у него всегда был под рукой расторопный Арчи Гудвин. Однако эти улики необходимы были лишь для суда. Для истины они не имели никакого значения.

Путь познания от мелочей до сути, от частного к общему имел КПД паровоза, к тому же не был универсален, и всякий раз приходилось начинать всё с начала. Тот, кто умел схватывать главное, находить алгоритм, не играл в детские паззлы, притом вслепую. Вот знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов замучил десятки дворняг, сверля им черепа, дабы добраться до собачьего мозга и выяснить, как он работает. В конце концов Павлов был вынужден признать: «Никто не может знать, что делается в мозгу собаки». Это был путь Шерлока Холмса от науки, жёсткий, пусть и сверхобъёмный, диск которого вращался лишь в одной плоскости.

Эмпирический путь познания был не только громоздок, зачастую жёсток, но и малоэффективен. Андрюша окончательно понял это, готовясь к выпускным экзаменам. Он знал, что его аттестат давно заполнен, нужно было лишь забрать сей документ вкупе с золотой медалью в кабинете директора. Однако он не любил халявы и должен был быть внутренне уверен: школьную программу по всем без исключения предметам одолел. К сему, как известно, и прилагается аттестат зрелости.

Прочтя все необходимые учебники за одиннадцатый класс, Андрюша сложил их аккуратной стопкой на столе, а затем одним движением локтя смахнул на пол как ненужный хлам. Этим символическим жестом он высвобождал свою память, отряхивался от накопленного завала прописных истин и шаманского тыканья пальцем в небо. Практически все дисциплины в учебниках являли собой, по сути, унылую беллетристику: и переписанная, многожды правленая история, и разжёванная, обглоданная до костей, до запятых литература, и посленьютоновская, высосанная из эйнштейновского пальца теоретическая физика.

А курс биологии расставил для Андрюши всё по своим местам: человек знал о своём мозге не больше, чем Павловская собачка – о своём. И только тот, кто обладал индуктивным методом исследования (о познании, прорыве речь не шла), мог с таким несовершенным инструментом проламываться в чужие черепа. Пусть это и были вечные наши скитальцы – дворняги. По большому счёту ведь так и неизвестно, кто кого исследовал – Иван Петрович собаку или она его. Об условных рефлексах бородатого человека, вооружённого страшным сверлом, бессловесная тварь не распространялась.

А в общем-то всё это было достаточно жутковато: если не брать в расчёт пресловутую и анекдотическую обезьяну, человек жил полным сиротой в этом громадном и гулком мире, неизвестно откуда взявшийся и неведомо куда бредущий

на ускользящей из-под ног, юлой вертящейся Земле.

Школьный курс наук, основательно расширенный Интернетом, оставлял гнетущее чувство человеческой ущербности. А свято место – то, что могло хоть как-то оживить это бессмысленное существование, оставалось пусто. Поэтому науке был присвоен номер 13 – цифра многозначительная, однако счастья, как правило, не приносящая.

Главным же аттестатом зрелости, который Андрюша вручил сам себе, просидев три года за компьютером и учебниками, стала констатация печального факта: человеку, в точности как и братьям его меньшим, не дано было постигать окружающий мир во всей его неодолимой полноте. Как пёс отрывал притоптанную в грязь мозговую кость, не зная, откуда она здесь и почему, так и человек открыв, например, электричество, не знает и по сей день, откуда оно и в чём его суть. И нет толка в том, что, в отличие от животного, человек сознаёт эту проблему. Ответов всё равно не имеется. Кроме одного: животные и люди имели разный уровень доступа к познанию. Однако, по сравнению с его бесконечностью, большой разницы тут не было.

Вот с этим-то Андрюша смириться и не мог. Уже теперь ему становилось тесновато в этом мире, где довелось ему однажды очутиться. «Если был вход, стало быть, имелся где-то и выход», – думал Андрюша. Он искал запасной выход, конечно, а не тот, что ногами вперёд.

Глава седьмая

Форточка, которая буйствовала вот только что на месте монитора, захлопнулась наглухо. Самоёсов вернулся на круги своя, однако чувствовал, что экран, теперь вновь кристаллически жидко подсвечивая унылым электричеством, слегка ещё волнуясь мелкой рябью, готовился выдать десятку. После эдакой увертюры иного быть не могло, поэтому Самоёсов вновь пытался скрыться в доисторическом лесу, прикинуться тупоголовым огромным динозавром, жующим подножный корм, а не вторгающимся туда, куда доступа нет. Хотя, по чести сказать, он сам вот уже несколько лет торил эту дорожку, а нынче, вернувшись из запредельной сети, чувствовал себя рыбиной, выброшенной девятым валом на берег.

Краем глаза Андрей видел, как на трепещущем экране возникали письма: //live//kampf//женщина//food//. Одним глазом, отчаянно кося, Самоёсов всё ещё скрывался в Девонской эре, а другим, преодолевая сразу миллионы лет, был уже здесь, а, может быть, и забегал вперёд, в зависимости от того, что высветит дисплей. По нему, слегка изгибаясь, плыл теперь знак минуса, одинокий и бессмысленный, а за ним начали вытягиваться новые символы.

Андрей вдруг онемевшими руками, словно робот, вытащил диск, вырубил лэптоп, потом выдернул из розетки пи-

тание и, уже вытаскивая аккумулятор, чувствовал всю тщетность своей немощной суеты, потому что не мог прекратить, не умел поставить преграду этому доступу, источник которого неизвестен.

Символы наплывали, меняя шрифты, и их кегли, наливаясь то ярко-голубыми, то багровыми тонами: //sex//zero//zero//kampf//. Самотёсов уже с холодной застывшей ясностью сознавал: с ним общались его кодом, однако в обратной расшифровке, в той, где в начале было слово.

Глава восьмая

Номером вторым в зацифровке Андрея стало понятие «sex». Произошло это четыре года назад, он как раз заканчивал первый курс физмата в МГУ.

Ещё в раннем детстве Андрюша зарезервировал цифры от нуля до четырёх для главных, «взрослых» понятий, которые, как он тогда уже чувствовал, откроются ему не сразу. И вот в восемнадцать лет – к тому времени были уже обозначены и ноль, и единица, и тройка (удача) – пришло время новой цифры.

На Воробьёвы горы Андрей отнёс свои документы не только потому, что так было принято в его семье – он должен был стать «пятым коленом» в их академической династии, как шутила мать. Ему не хотелось отрываться от сверстников, потому что он и так был достаточно одинок. Да и кто бы его мог понять: он не искал своего места в жизни, в этом хаотичном, подогреваемом страстями булькающем человеческом котле, что было свойственно всем, кто входил в касту ныне живущих, среди которых Андрей чувствовал себя добровольным парией. Наоборот, он отыскивал место самой жизни, помеченной им единицей, в огромном, нескончаемом ряду цифр. Если взять последний Оксфордский словарь, вмещающий более полумиллиона слов, исключить синонимы и термины, он закроет только какие-то две

сотни тысяч чисел, которые были неиссякаемы, оставаясь неизречёнными, а потому абсолютно абстрактными. Те числа, что были свыше двухсот одухотворённых словом тысяч, конечно, можно было использовать в расчётах пространства и таинственного времени, подсчётах наличия на планете людей, деревьев или денег, однако они становились уже туманными и абстрактными, как сама математика. Это было унылое бухгалтерское начётничество. Никто не мог охватить разумом свыше двухсот тысяч людей, таких стадионов просто не существовало, никто не мог заблудиться в двухстах тысячах сосен, а миллионы рублей или долларов передвигались в невидимых электронных счётах или, реже, в безликой тени безликими пачками нарезанной бумаги. Всё это превращалось в вульгарную статистику, не обозначенную и не одухотворённую словом.

Двести тысяч. А дальше был тупик, чистая математика, теряющая связь с реальностью. Дальше этого числа шла некая инсталляция, «в начале» которой не было слова.

В принципе, в инженерном плане она работала. Уравнения были точны – Андрей умел их читать. Они могли заслать летательный аппарат к Юпитеру или Сатурну, где тот, искусно проскальзывая меж астероидных колец, выходил на орбиту, делал снимки планеты и летел дальше, постепенно уходя за горизонт солнечной системы. Полёты «Вояджера», этого космического странника, сквозь пустынный, холодный и молчащий космос, завораживали, будили воображение, од-

нако при всех своих сугубо научных и технологических решениях больше походили на старую историю о ковре-самолёте, на сказку.

Потому что новости, приходившие на Землю с расстояния многих миллионов километров об иных небесных сферах, не несли в себе ничего принципиально нового: лишь картинки, которые вполне походили на необжитые пространства Земли – горячие пустыни или холодные полюса. А те атмосферы или отсутствие их на далёких планетах свидетельствовали всего лишь об иных комбинациях химических элементов всё той же таблицы Менделеева. Увы, весь космос можно бы было смоделировать в обычной лаборатории или же инсталлировать в одном из павильонов Голливуда.

То же происходило и в микромире. Вся мощь современной науки наглухо упёрлась в то, что знали ещё античные греки: материя состоит из мельчайших частиц. Дальше этого дело не пошло. Невероятно амбициозное и дорогое сооружение андронного коллайдера в швейцарском андеграунде служило, скорее, к прославлению швейцарских банков, нежели научному прорыву и походило на легендарное вавилонское столпотворение. Дерзостный в своей безысходности проект. Кризис жанра.

Нужно было вновь обращаться к древнегреческому проекту «Всё во всём». А потому опускаться на землю, отступить на прежние позиции: психологически для человечества это будет труднее, чем посадка лунного модуля проек-

та «Аполло». Но заматеревшие в XX столетии физики, добившиеся неслыханных побед, явно выдыхались, их всё более дорогостоящие эксперименты собирали мизерную научную жатву, и потому неизбежно наступал ренессанс затюканных лириков, чьё «оборудование» ещё ведь недавно казалось жалким, устаревшим и ничтожным – всего лишь голая мысль.

И хотя направление поиска создателей коллайдера было верным – взять, наконец, за жабры ускользающее понятие «гравитация», – при всей грандиозной аляповатости проекта оно было слишком узким, чисто инженерным, прорабским, не более.

Андрей, впрочем, идя тем же направлением, тоже топтался тут на месте, и всё его научное «оборудование», умещавшееся в верхней части туловища, перегревалось и закипало, столкнувшись с незримой, но свинцово-непроницаемой стеной сингулярности, за которой таились все истинные сокровища мира. Вот тогда-то и громыхнула в его жизни «двоекка», взорвавшись тем истинным и единственным фейерверком светопредставления, какое дано было человечеству.

Глава девятая

Слова на мониторе окрасились в чёрный пугающий своей абсолютно светопоглощающей фатальностью цвет, заняв, задавив огромным кеглем экран.

Андрей достал из пачки лист бумаги, взял чёрный фломастер и с давно забытой покорностью первоклассника списывал слова с монитора, словно со школьной доски:// **life// //kampf// //женщина// //food// //sex// //zero// //zero// //kampf//.**

Он, конечно, перевёл, «зацифровал» в четверичной системе их смысл, однако всё оттягивал этот момент, не решаясь запечатлеть, высечь на бумаге то, что обычно является просто констатацией факта, пуритански лаконичным, убийственно точным и исчерпывающе понятным всем.

«Якоже глухому и гнугливому», – вспомнилось Андрею. Сейчас он и сам был бы рад прикинуться незрячим, глухим и гнугливым – любим, лишь бы не видеть этих слов, не переводить их в числа, чтобы они так и остались набором разноязычных понятий. Понятий, которые в разноплеменных наречиях воспринимались несколько по-иному, смыслово различаясь в своих оттенках. Андрей теперь ухватывался как за спасительную соломинку за эту лингвистическую теорию, словно она могла увести его от беды, упрятать, как в детстве, за материнскую спину.

Когда англичанин произносит «a dog» или немец «der Hund», они имеют в виду породистое ухоженное и довольное своим существованием животное. Мы же, русские, под словом «собака» подразумеваем несчастную голодную и зябнущую под осенним дождём дворнягу, каких много у нас и которых редко встретишь на Западе. То же происходит и со словами «забор», «подъезд», «мусорный бак» и даже «хлеб», «жизнь», «смерть». Их можно перевести, сделать понятными, однако это будут всё равно две разные истории о двух разных мирах.

Так когда-то мать ответила на Андрюшин глобальный вопрос: почему в Австралии жизнь опрятна и похожа на аккуратную свежую девочку, а наша – на дворового пацана, который вечно носится с занозистой палкой наперевес и весь в соплях?

Таким образом проблема была переведена из этнической, социальной, исторической плоскости в семантическую. Ответ был корректен, в общем-то понятен. Однако малооптимистичен, ибо укоренённый в языке менталитет вряд ли поддавался диффузии межнационального общения. Тогда Андрей ещё раз убедился в своей правоте, он цифровался, потому что только в числах понятия освобождались от субъективности, наноса традиций и мифов, были абсолютно стерильны.

Однако теперь была возможность ещё потянуть, поволынить какое-то время. Андрей послушно переводил эти пре-

вращающиеся в тяжёлые, словно надгробные камни, слова на родной язык, каким он привык обозначаться в этом мире, и вот нынче получил в ответ не слишком обнадеживающую весточку: //жизнь// //борьба// //женщина// //еда//, а затем после знака вычитания: //sex// (это слово он оставил нетронутым, так как и без того оно уже накрепко укоренилось в языке, к тому же русский аналог звучал бы несколько вызывающе, учитывая смысл послания) и далее: //ноль// //ноль// //борьба//.

Фатальные нули здесь были уже зацифрованы, и это являлось не просто неким эвфемизмом, некой уступкой, щадящей его чувства, напротив, то было точное указание, что речь шла именно о его, Андрея, коде, чтоб и тени сомнения, надежды не оставить получателю сего. То же и русское слово «женщина», чётко идентифицирующее его национальную сущность.

«Что ж, ладно, получи, Андрюша! – с каким—то тоскливым, обречённым воодушевлением подумал Самотёсов. – Ты сам всё это затеял. Да ведь и не каждому дадено такое при жизни: высечь саморучно свой итог на скрижалях. Теперь смелее на шайбу. Тяжело в мучении – легко в раю».

Решительно и жирно Самотёсов вывел на листе чёрным, как и пристало моменту, фломастером результат:

1988 – 2011.

Затем он вновь открыл крышку ноутбука, чтобы свериться с ответом, ничуть не сомневаясь в том, что увидит в элек-

тронной шпартгалке. Конечно, ответ сходился. Однако был теперь более изощён, безапелляционен, выбивался за рамки оцифровки Андрея, и потому выглядел ещё более безысходным, почти свершившимся.

Словно античные непобедимые когорты, закованные в броню жёстких засечек шрифта, на Самотёсова обрушились с экрана римские цифры:

MCMLXXXVIII – MMXI

Андрей ощутил, как в комнате повеяло затхлостью и тлением, словно кондиционер начал забирать воздух из заброшенного склепа. Картина выходила ясной: ему было явлено то сакральное арифметическое действие, когда из меньшего числа вычитается большее и в итоге начинается иной отсчёт – тот самый, что имел в виду маленький Андрюша, утешая отца, когда «обнулилась» бабушка Варя: -1, -2 и так далее. В высвеченном на мониторе варианте это выглядело как -23. Ровно столько Самотёсов прожил на белом свете. «23 года в минусе, – подумал Самотёсов, – неплохой итог. – В минусе от вечности, где ты никто, ничто и звать тебя никак!»

Почему тот промежуток между двумя неизвестными, когда ты вроде бы материализован, осмыслен и заанкетирован, обращается в минус, Андрей пока не понимал. Те 23 года, что, собственно, и составляло суть самого явления под названием «Андрей Самотёсов», теперь бессмысленно болтались между двумя нулями, становились, растворяясь в формуле, бесплотными, абстрактными, никому не нужны-

ми и вообще минусили.

Однако популярное на погостах арифметическое действие, выведенное на мониторе прежде арабскими, а затем и римскими цифрами, сомнений не оставляло:

$$1988 - 2011 = -23.$$

Впрочем, это был лишь набросок, первая прикидка: арифметика в той арабской системе, в которой он привык цифроваться, своеобразная наводка, в итоге же ему выдали иной счёт, не гамбургский, но римский. И в этих неповоротливых, уже лет семьсот не употребляемых в вычислениях цифрах был свой смысл.

Андрей теперь втягивался. Вламывался в процесс, и не оттого, что его хоть сколь-нибудь заботил результат, напротив, здесь он, входя в привычный мир чисел, думал спрятаться, укрыться за их отвлечённой абстракцией, лживой точностью, сомнительной объективностью. Самогёсов давно уже осознал, даже проникся, что цифры по отдельности, в своём строго нарастающем ряду могли точно зацифровать, пришить к сознанию то или иное явление, однако превращаясь в числа, а тем паче слагаясь в отвлечённые формулы, несли с собою такую же субъективность, болтливость, приближительность, а, порой, и фальшивую демагогию, что и человеческая речь. Лишь столь же великий, сколь и начётнически недооценённый в хрестоматиях поэт как Фёдор Тютчев мог с гениальной откровенностью сознаться, что мысль изречённая есть ложь. Молодая же секта теоретических физи-

ков, отставших во времени от пиитов, как мусульманство – от Благой Вести, выдвигало тоталитарных, склонных к квазинаучному терроризму, гениев, не способных ещё на покавание в своей изречённой в числах лжи.

Андрей хохотал, листая тома Ландау или же продираясь сквозь дерзкие ухищрения Эйнштейна. Он изумлённо восхищался той поистине раблезианской пышностью сарказма, которой они топтались по скромной ньютоновской физике. Мюнхгаузен, однажды смотавшийся на пушечном ядре к Луне, выглядел дремучим простаком по сравнению с Эйнштейном: тот, вывалив дерзко чуть не на плечо язык, порхал по искривлённой им Вселенной с тупиковой скоростью света. И вот уже чуть ли не целый век физические пролетарии всех стран совершали намаз в сторону священного Берна, где зарождалась теория научной относительности. «Иншальберт!» – несло с востока, «Востину Эйнштейн!» – подхватывали православные.

То было грандиозное протестантское шоу, основанное на истой вере, со своим ветхим (исааковским) и новым (альбертовским) заветами. И нет в том беды, что работал пока только ветхий физзавет, нагорная альпийская проповедь, звучавшая как « $E=mc^2$ », сулила гораздо больше царства небесного. В отличие от Христа, накормившего пятью хлебами жалких пять тысяч иудеев, Альберт одним неудобоваримым, плохо пропечённым кирпичом насыщает уже не одно поколение, сотни и сотни тысяч теоретических физиков.

На самом деле я «и есть хлеб, жизнь приносящий!» – вот кому он показывал свой язык.

Всё это действие прозывалось между тем наукой, и не так запросто, а пышно – академической. Андрей умел манипулировать цифрами не хуже ковёрного жонглёра, он схватывал идею на корню и мог математически безупречно оформить любую физическую блажь. Однако блажь, сколь бы дерзновенно и новаторски она ни выглядела, оставалась блажью в стиле мюнхгаузеновских приколов, загромождавая, зашоривая исконно доверчивому к манипуляторам человечеству горизонт баррикадами нобелевских премий. Реальные же задачи в эпоху компьютеров решались настолько быстро, сколь много имелось в распоряжении пользователя мегабайт.

Тогда-то Андрей и бросил баловаться числами, в свою очередь показав харизматическому фоту язык. Прорыв же – истинный, а не шельмовато-теоретический – лежал в иной плоскости. Андрей уже чувствовал, ощущая его промельком сознания, однако тот был столь неясен, ускользающ и не изречён ни цифрой, ни глаголом, что порою Самотёсов почти наяву осязал под руками шероховатость столба, какие снабжались непременной табличкой «Не влезай – убьёт!»

Андрей мотнул головой, словно отряхиваясь от воспоминаний. Он возвращался к реальности, в которой безнадёжно завис, а ведь она заключалась просто в том, что перед ним на мониторе высвечивалось всего-то арифметическое дей-

стве, маленький примерчик. Такой, что проходят дети ещё в первом классе, – вычитание. Только странным было это вычитание.

«Кладбищенская арифметика – благородное занятие. – Андрей опасливо взглядывался в хищно заточенные римские цифры. – Итак, что мы тут имеем, если окончательно перейти на латынь? Volens polens мы имеем две даты, между которыми стоит знак „minus“, что означает „менее“. Первая дата „менее“ второй. Как же прикажете вычитать?»

Он пытался абстрагироваться от этих дат, вернуть их просто в числа, предмет исследования. Но получалось плохо. Воображение рисовало покосившийся полусгнивший крест с затёртыми от времени и дождей цифрами на нём:

CMLXXXVIII – MMXI

Тогда он попробовал озлиться на себя: «А ведь, Андрюша, фрондировал ты своими способностями, своим даром, опуская, пусть опять же volens polens, многих. Осмелился поднять хвост на столпов. Так вот тебе задачка на сообразительность, решай же её, не парься».

И дело вроде пошло. Крест не исчез, но появились мысли.

«Ты видел эти скорбные примеры на вычитание. На могиле бабушки Вари он был и окрест – на сотнях уходящих к горизонту надгробий. Подобно всем прочим, ты воспринимаешь minus меж двумя датами как прочерк. Это был просто вычерк из жизни, из числа бродящих по земле. Так мыслили все, так думал и ты. А тут ведь непросто. Тут главная

арифметика и есть! Понтовик ты, Андрюша, а не вундеркинд. Стебёшься над фундаменталистами, их кошерной наукой, а примерчик-то из жизни (смерти?) и не углядел, не решил. 1:0 не в твою пользу, пролетаешь».

Наверное, это было потому, что чужие даты с прочерком не болели так, как ныли сейчас эти свежие раны с засечками, проявленные, словно рентгеном или томографом, и высвеченные монитором:

МСМLXXXVIII – ММХI

«И не спрашивай теперь, по ком звонит этот колокол. Поздно. Теперь – решать».

И он включился по-настоящему. «Прочерк, тире, дефис здесь не катят, не лепятся, иначе ведь сколько бы ты ни прожил, чего бы ни утворил и ни изведal – от одной даты до другой, от доски до доски, – всё уходит в прочерк, в никуда, в пшик. Тогда и в тех числах, что оповещают о начале и конце этого пшика, нет ни малейшего смысла. Тогда нужны просто ФИО – без дат, без привязки, без прочерка: „Иванов Иван Иванович. Покойся с миром. Тебя не было“. Такой тогда нужен отходняк».

А ведь дано было по-иному.

«Итак, что нам дано? – Андрей вновь взглянул на монитор. – Дано арифметическое действие „вычитание“, где второе число более первого. Причём пример нам явлен римскими цифрами. С какой радости, что сие значит? А только, видать, одно: римское счисление не знало минусовой степени.

Ergo, значит, здесь либо нет никакого решения вообще, и нам подсунули туфту, либо...»

Вот тут-то Андрею и вставило по-взрослому – так, что не только руки, но и ноги пробило мелким тремором. А под левым ребром где-то в районе поджелудочной железы зажглась и, остывая, прокатилась по всему телу мощная волна адреналина. Ещё вибрирующими, не вполне послушными пальцами Андрей вывел на листе:

$$\text{MCMLXXXVIII} - \text{MMXI} = 0$$

и тут же, суетясь, попробовал вклинить сюда и тот, арабский вариант ответа: «-23». Получилось ещё более жутковатое. Абсолютно безнадёжное уравнение:

$$\text{MCMLXXXVIII} - \text{MMXI} = 0 (-23) = 0$$

Андрей выронил фломастер, в нём больше не было нужды: дальше будет всё время только ноль. Он наконец осознал, что вычислил свой итог, выполнил «домашнее» задание, влепив себе приговор. Это было похоже на кошмар: ноль в оцифровке Андрея означал просто «смерть» – относительное, абстрактное понятие. В римском же окончательном варианте «nullis» звучал категорически и очень лично – «никакой»!

Самотёсов, впрочем, так себя и чувствовал сейчас: никакой. Да и жив ли? Он переставал понимать окружающее. Взглядом будто сквозь мутные, запылённые стёкла он обводил комнату и не знал, за что зацепиться. Нашупал пульс: он был и колбасил всюю.

Выдернувшись из кресла, Андрей подбежал к двери, распахнул её и взглянул туда, где сидела за своим нарядным столом Хахуня. Та медленно подняла голову на звук, и в её взгляде застыл вопрос.

– Что? – спросила она. – Андрей?

Он замахал на неё руками: «всё, всё!» и захлопнул дверь.

Глава десятая

28 апреля – тот день Андрей забил в память навечно – московская весна была в самом разлёте. Из согретой уже земли потянули пьянящие соки не только лишь приручённые, обульваренные деревья, но и, кажется, старые дома в арбатских переулках просыпались: сперва обласканными солнцем мезонинами, затем парадными залами и глубокими подвалами, где тоже пробуждалась одряхлевшая, но ещё крепкая жизнь. Они вдыхали тёплый воздух своими каминами, отдушинами, слуховыми оконцами на чердаках. И аляповатые сталинки были рады весне, и уцелевшие хрущобы некрепкими своими корнями ещё цеплялись за свою, быть может, последнюю весну. И лишь высотные башни из стекла и бетона – вырванные из чужой почвы нувориши – стояли такие же холодные и отчуждённые, и было непонятно пока, приживутся ли они, возьмут ли их глубоко засваенные корни вешний сок из древней московской земли. И даже в коробку, где к вечеру зависла их факультетская тусовка, где всё сверкало, взрывалось, гремело и летело к чертям, проникала весна. Не тем лёгким, с юной сумасшедшинкой воздухом, не нежным, ещё застенчивым весенним теплом – здешние теснота, суэта, сигаретный смог устоялись, кажется, навечно – просто в крови действующих тут молодых лиц зажглась и бушевала иная формула, сносившая крыши своей пьяня-

щей неопределённостью.

Они отстукивали высокими стаканами по стойке бара гремущий ритм, не вклиниваясь в толпу беснующихся танцоров, но и не отставая от неё совсем, быстролётно знакомясь, переглядывались с приведенными сюда ими девчонками, прихлёбывали некрепкие, не крепче весны, напитками. Торчали, в общем. Их не ожидали снаружи яркие улётные «феррари» или затемнённые лимузины с услужливыми шофёрами – всё это было впереди. Они собирались сами торить себе дорогу в жизнь: молодые оголтелые в своих мечтах будущие физики. Верили ли они в науку – вопрос. Однако они истово поклонялись брендам – старым, проверенным временем. У них хватало мозгов не запасть на пышно расцветшую в безвоздушном пространстве пофигизма гламурь, что нынче при первых же заморозках кризиса увядала, скукоживалась в секонд-хэнд, превращаясь в жалкую конфетку на палочке. Когда же на крысиные бега протонов по замкнутой трубе ускорителя в земли гельветов и франков закапываются миллиарды, то уж как-нибудь что-нибудь обломится в будущем и им.

– Бренд Христа Марксов бренд как кабана завалил! – перекрикивали они поверх девичьих голов бунтующую музыку.

– А Альбертов бренд покруче Христова будет!

– Джезус крайзис, Джезус крайзис! – радостно и отвязно богохульствовали они, чокаясь и крестясь.

– Аминь!

Ставки были высоки. Эти небездарные стройные симпатичные, не похожие на унылых зубрил парни закладывались на Эйнштейна. Не тупо и вульгарно ставили на мещанского мамону, на банкротившийся повсеместно бухучёт, они закладывались на интеллект. Не будучи похожими на своих предшественников физиков-шестидесятников, этих пижонов, «идущих на грозу» и ошпаривавшихся в ядерных реакторах, они умели просчитывать свой романтизм. Коллайдер стоил больше, чем Рокфеллеровский центр, и обошёлся дороже храма Христа Спасителя. Инвестиции в науку – вот парус, что белел им в тумане будущего. А ныне, когда окончательно сбрендили с повестки дня левацкие и правые мессии, печатавшие свои жутковатые профили на марках и рублях, когда почтенные американские президенты закачались, а бумажные евроокна стали продуваемы, борьба пойдёт серьёзная. В центре ристалища, очищенного историей от временщиков и профанов, осталось два непримиримых бренда: И. Христос и А. Эйнштейн. Наука и вера. Отче наш и $E = mc^2$.

Ортодоксам было проще: для поддержания их веры доставало Библии, церкви и нескольких древних артефактов, подобных загадочной Туринской плащанице. Бренд гениальный в своей простоте: чем менее познаваем, тем более велик.

В науке дело обстояло хлопотней. От её инженерной ветви требовали результатов, от фундаментальной ждали доказа-

тельств. И если первая, подобно фокуснику, вытащила из закромов блестящих мозгов всё возможное ещё в прошлом веке – от телевизора до мобилки – и теперь азартно их модернизировала, то вторая, по рангу – старший брат, изначально в своём зародыше выкинула коленце, удумав новую, как бы независимую от Божественной, теоретическую природу. Она так и озаглавливалась – теоретическая физика.

Как и ортодоксальная живая, природа теоретическая претендовала на всеохватность и всеобъёмность, однако, в отличие от неё, была как бы познаваема. Эта адаптированная физика (Андрей всегда держал в голове греческий корень *physis* – природа, номер 12 в его оцифровке) стала религией протестантов, обрастала конфессиями в виде многочисленных густо разбросанных по всему миру приходов: академические институты, лаборатории, кафедры в университетах. И, наконец, был возведён катакомбный кафедральный собор – андронный коллайдер. От рядовых прихожан этой быстро ставшей самой активной религии также требовалась вера, поскольку их библию и особенно новый завет могли читать только посвящённые – дипломированные физики-теоретики. Вот среди этих будущих жрецов, а ныне семинаристов и обретался Андрей.

Получив ещё в школе урок остракизма, он загодя просмотрел учебники за первый курс, усвоил их парадигму и в своих ответах, рефератах старался тщательно следовать ей. Порою, конечно, пробивались, проскальзывали искорки

иного строя мысли, однако они были редки, не пугающи. Эти нечаянные промельки неординарности к тому же создавали ему имидж светлой головы, неформального лидера с хорошим академическим будущим.

– Андрей, ну познакомься же! – хлопнули его по плечу. – Это Лиза.

Он уже привык, что его всегда знакомили с самой яркой из девчонок, которых их тусовка исправно черпала из филологического гарема, где тех было неисчерпаемо, а у них на курсе остро недоставало. Такой жест был данью его авторитету, закреплявшим за ним как бы право первой ночи. В действительности же он не был жертвенен, поскольку Андрей никогда ещё не покидал компанию с кем-нибудь из новых наложниц – этих любительниц словесности.

Как обычно, Андрей вежливо улыбнулся вновь представленной Лизе и машинально потянулся за своим стаканом, полагая церемонию состоявшейся. Однако вдруг ощутил, что застрял взглядом, что доселе не ведомая сила начала по-своему распоряжаться его зрением.

Уже примерно с час она находилась здесь, рядом, на расстоянии руки, иногда исчезая из поля зрения и вновь возвращаясь, раскрасневшаяся после танца. Андрей машинально фокусировал это в общей мозаике вечера, а тут вдруг завис, разглядев.

Просто она маскировалась под весну! У неё не было имени, она была бесплотна. Лёгкое дуновение, нежный ле-

пет просыпающейся природы. Когда же было произнесено «Лиза», весна, живущая в синих глазах, струящихся волосах, тонком изгибчивом теле, начала обретать имя, становилась одушевлённой. Лиза проявлялась, материализовалась из толпы, как когда-то Афродита из пены Средиземноморья, царственно ступая на неудобную гальку маленького тесного залива на Кипре.

Эта аберрация застигла Андрея врасплох. Он вдруг ощутил огромную нагрузку, утяжелившую его кровь, что приливали к щёкам, распирала лоб, и сердце забилося сильнее, пытаясь наладить застопорившееся движение в артериях. Гравитация плющила его, сталкивала с орбиты. Остановившись зрачками он наблюдал, как Лиза, вспыхнув матовой кожей лица и рук, тоже начала втягиваться в это силовое поле, и тогда стало легче. Можно было, по крайней мере, дышать.

Они влетали в какой-то невидимый разгонный коллайдер, где властвовала мучительная и сладостная гравитация, в иной мир, в иную физику. А вокруг всё было по-прежнему: перекид взглядами и репликами их тусовки, неумолчный электронный гул музыкального трёпа.

Неизвестно, кто первым встал и двинулся к выходу, а кто последовал за ним. В их связке не было ведомого.

– Эй! Куда вы? Андрей! – окликнули их.

Андрей неопределённо вскинул плечи. Вопрос был неподъёмным.

Они шли по просохшей уже после зимы плитке москов-

ских тротуаров, не столько удаляясь от места своей неожиданной встречи, сколько приближаясь к чему-то неизведанному, таинственному и остро желаемому.

– Вас в самом деле... – запнулся Андрей. – Ты – Лиза?

– Я? – Она подняла синие глаза к гаснущему в вечернем закате небу, будто советуясь с ним. – Ну да, только... А вы – Андрей? Ты?..

Они словно заново примеривались к своему естеству в этом мощном гравитационном поле. Андрей вновь ощущал себя тем самым одиноким протоном, разгоняемым до немыслимой скорости навстречу такой же элементарной частице, и в этом приближающемся сшибе ещё недавно стабильных частиц, попавших в омут притяжения, и рождалось, должно быть, всё новое на земле, рождалась жизнь.

«Первый¹ пошёл!» – Андрей захлёбывался от восторга, сначала сжигающего огнём грудь и затем скатывающегося вниз, к ногам, холодеющим пьянящим ужасом. Он долго, быть может, слишком долго уберегал себя от этого момента, от неизбежного спарринга, не желая разменивать заветную «двойку» всуе, предчувствуя, что именно здесь и откроется ему, заработает иная физика.

Лиза шла, скидывая свои длинные юные, будто всё ещё растущие ноги, неудобно, как казалось Андрею, прикасаясь ими к земле и вновь взлетая, точно под ними и впрямь была крупная галька того самого тесного кипрского залива. Её взгляд устремлялся вперёд, замкнувшись на невидимой точ-

ке, всё отдалявшейся и отдалявшейся в сгущающихся сумерках. Она словно бы и шла рядом с Андреем, скованная неодолимой гравитацией и в то же время, казалось, удалялась в неизвестном ещё даже для неё векторе судьбы.

«Подиум, – вдруг понял Андрей. – Так одиноко ходят модели».

Он взял её руку в свою, слегка сжав тонкие прохладные пальцы Лизы, и почувствовал, что они откликнулись, ожили в его ладони, спрятавшись там.

Андрей в самом деле не знал, куда они шли, даже когда подходил к своему подъезду, поднимался на родной второй этаж, отпирал дубовые, сработанные ещё в позапрошлом веке, двери.

И Лиза не спрашивала ни о чём, молча, всё так же неудобно, словно по крупным морским окатышам, ступая по истёртым мраморным ступеням.

И только войдя в прихожую, непривычно необжитую в своей огромности, Андрей постиг всё коварство этого вдруг привязавшегося античного образа и то, отчего именно он был сегодня их путеводной звездой. Вот как оно всё связывается, когда начинается разгон гравитации судьбы.

– Ты бывала на Кипре, Лиза? – спросил Андрей, только чтоб ещё раз произнести имя.

– В Пафосе. Но не в это время.

– Там сейчас родители.

На маленьком острове в это время была настоящая рус-

ская баня: горячее, как в июле, солнце и ещё не согревшаяся стывшая вода, прорубь для начинающих.

– Это твой дом?

– Ну да, оказывается... Проходи, буду тебя с ним знакомить. Кофе хочешь?

Лиза подняла глаза и впервые открыто, не загораживаясь, взглянула на Андрея. Казалось, именно оттуда, из бездонья глаз, струилось синее ломающее волю тяготение.

– Не сейчас... Ты уверен, Андрей?

– Нет. Ни в чём... Никогда. – Он взял её за руку и повёл за собой по длинному коридору к той двери, что открывалась в его мир. – Но ведь это ничего не меняет?

Он знал, Лиза ушла от него ещё прежде, чем они поднялись на второй этаж. Она слетела со своей орбиты, попав в более мощный жизненный поток, давно желая его, однако вернётся, выправится на круги своя, лишь только утихнет, сработавшись, этот вихрь неведомых частиц, который люди, далёкие от физики, называют попросту любовью. У гравитации много эвфемизмов.

И хотя будущее опережало настоящее, как бы лишая смысла, но не отменяя, а лишь

перечёркивая, оно должно было произойти, и одежды теперь слетали, спадали с них, как шелуха на маслобойне. Светопреставление это, в отличие от лицедейства – театрального и повседневного – не требовало гардероба и макияжа, только неодолимое взаимное тяготение, что сталкивает, сплющива-

ет тела, и появляется лазейка в иной мир, в тот интернет, что подключён к вечности. Андрей входил, улетал в этот лабиринт, подобно тому, как уходили, отрываясь от всего земного, миллионы, миллиарды мужчин до него,

¹ Protos (греч.) – первый

ибо участвовать в сотворении жизни, которая обретает бессмертную душу, значило становиться, вырастать вровень со Вселенной, где эта душа пребывает.

Вот Вселенная задышала, вскрикнула от мгновенной боли и, застонав, слилась в пароксизме зачатия вечной истории: истории новой души. И даже если она не случится —

не сольётся что-то в единое целое – всё одно эта попытка будет засчитана, не станет фальстартом.

Андрей в этом мучительном обладании, доступе ощущал единственное, всё нарастающее гулом галактик желание отдать, избавиться от того, что зародилось в нём, но не принадлежало ему, отдать немедленно, не торгуясь, не просчитывая выгоды, как неизбежно это делает человек на земле, а только чувствуя такое же острое желание Вселенной принять в себя то, без чего она томила в бессмысленном коловращении.

Гравитация, порождающая жизнь, достигла высшей точки взаимного тяготения, разогнав кровь в артериальных и венозных коллайдерах до немыслимой скорости, и вдруг оборвалась, угасла, обрушив их обратно на землю, упрятав в человеческое естество и разбросав вновь ставшие одинокими

обнажённые тела на белых простынях.

Лиза прикоснулась губами к его плечу, и глаза её синели познанием, обретённым в эти несколько минут уже почти восемнадцатилетней её жизни. – Ты покажешь, где у вас ванная?

Андрей проводил Лизу до двери, запечатлев в памяти её стекающую к бёдрам, будто светлая капля, спину. Потом он нашёл махровый халат матери, повесил его на дверную ручку ванной, оделся сам и стал готовить кофе с бутербродами.

«Да, вот только что я сгонял в бесконечность, частично становясь ею, а нынче втупую мечу бутерброды, словно и не было ничего. Хитро, хитро всё это...»

Впрочем, Андрей с увлечением мазал хлеб маслом, нарезал сыр и колбасу. Он чувствовал огромный прилив сил и острый голод. «Сколько же времени мы находились в Сети?»

Лиза смыла макияж и вместе с ним пару нарисованных лет. В коротковатом для неё розовом в белую полоску халатике она смотрелась подростком, выросшим из своей одежды. И только сформировавшиеся уже кисти рук с длинными тонкими пальцами, как лапы у породистого щенка, обещали в будущем женскую зрелую стать.

Она едва надкусывала бутерброд и долго тщательно его пережёвывала, запивая мелкими глотками кофе.

– Я всегда жую медленно, задумчиво, как корова на лугу, – улыбаясь сказала она. – Не обращай внимания.

– Ум... мы, – промычал Андрей набитым ртом и тут же понял, кто из них корова. На внимательного хозяина дома, во всяком случае, он сейчас не был похож.

– Извини, – сказал он, наконец прожевав. Он думал, куда же девается та бушующая гравитация, способная вывести, вынести человека на околовзвёздные орбиты.

Лиза вытерла салфеткой губы и вновь улыбнулась.

– Я в самом деле благодарна тебе. Всё теперь случилось... знаешь, мне трудно врать, как-то не могу выучиться.

– Это впрямь нелегко, но скажи, зачем тебе помост? Ты идёшь, бредёшь по нему, только ведь он никуда не ведёт. Он плоский, ниже уровня моря.

– Сама не знаю. Он и в самом деле никуда не ведёт. Вот пока что привёл к тебе. А дальше...

Андрей вновь почувствовал колкую упругость тяготения.

– У тебя не выходит врать, значит, ты неслабый человек. А быть моделью, словно калика переходжий...

Лизин городок стоял на двух пригорках и с отвращением таранился на себя в тёмную илистую северную речку. Прежде, лет пятьсот подряд, в ней отражались купола бело-голубой весёлой церкви, обрушенные однажды в воду, и теперь в растрескавшемся древнем остове находилась пивная, сменившая склад МТС, и местная библиотека.

От пивной до реки – только с пригорка скатиться и туда, вслед за крестами, постепенно уходили местные мужики. Сначала из реки вытащили распухшее тело Лизиного отца,

а спустя три года ржавый старый «ИЖ» её старшего брата Коли. Тело самого Коли обнаружено не было: тёмная речка таила много глубоких омутов, где водились многопудовые чёрные сомы-людоеды. Ловить их было некому.

Похоронив вместо Коли его мотоцикл, Лизина мать спалила остатки древней церкви вместе с проклятой пивной, а, значит, и библиотекой, которой заведовала, и где единственной читательницей числилась её дочь Лиза. Посыпав голову пеплом любимых книг, она откопала в огороде старую, прадедушкину, шкатулку, лежавшую в земле ещё со времён крестов, высыпала в Лизиной руки двадцать одну царскую николаевскую червонного золота монету и закричала надорванным, не своим голосом:

– Убирайся!! Чтоб ноги твоей не было подле этой реки. Прочь! Прочь!

– Куда, мама? – тихо спросила Лиза.

– В Москву, в университет, прочь!

Ровно четверть века назад мать с отличием закончила МГУ, и воспоминания о студенческих годах оставались тем крошечным светлым пятнышком, которое ещё теплилось, однако неумолимо смывалось тёмными, как речка, омутными мыслями. Она цеплялась за этот ускользящий краешек жизни, пытаясь уберечь дочь...

– Моделью чего? Разве мы все не ходим по подиуму, который никуда не ведёт? Нам не нужно друг к другу привыкать, Андрей.

Лиза смотрела на него так, что Андрею вновь захотелось прижаться к её губам, почувствовать её одинокое тело. Логика в её словах не было.

– Тебе нужны зрители?

– Не знаю. Я их почти не вижу, они в тёмном провале.

Иногда мне кажется, что это просто лунная дорожка.

– Ладно, – сказал Андрей, – мне всё равно не понять. Может, тут всё дело в тряпках.

– На меня их натягивают в секунды и так же быстро и довольно грубо сдёргивают. Я их только чувствую: всё время новые. Может, это ощущение новизны... иногда кажется, что если я остановлюсь, застряну где-то, то жизнь тут же и кончится.

– Помост тоже никуда не приведёт.

– Тоже. – Лиза замолчала, провела руками по ещё влажным кончикам волос. – Наверное, мне нужны всё же эти сотни глаз, пусть и смотрящих из темноты. Одиночество хуже. Представь: улица, толкотня, туча людей, яркое солнце, и никто никого не видит. Слепые. Глядящие внутрь себя.

– Поешь, – сказал Андрей.

Лиза покачала головой.

– Из-за веса?

– Скорее наоборот. Меня всегда кормили с ложки.

– Ты сможешь сегодня остаться?

– Да, – просто ответила Лиза. – Меня никто не ждёт. Девчонки весною редко ночуют в общежитии.

– Ну, тогда пошли, милая барышня. Я приглашаю вас в конец позапрошлого века.

– В таком виде? – Лиза посмотрела на свой халат.

– Именно. Потому что это не пошлый гламурный винтаж, просто в этой квартире оказалась слишком сильная гравитация, чтобы смена эпох смогла что-то сдвинуть здесь со своего места. Андрей взял Лизу за руку и повёл по широкому обитому тёмными дубовыми панелями коридору. Потом он толкнул створки высокой резной двери, и они оказались в огромном зале, освещённом массивной хрустальной люстрой. Центр зала занимал длинный овальный стол красного дерева с могучими ножками, оканчивающимися загнутыми кверху мордами хищных змей с распахнутыми пастьями. Вокруг стола свободно были расставлены стулья с высокими спинками, на некоторых из них ещё сохранилась позолота. Андрей подвёл Лизу к столу, на матовой поверхности которого выделялись два круглых высветленных, похожих на бельма, пятна.

– Это пятно, – Андрей указал на более крупное, – датируется 1917 годом, а второе – 1941-м.

– Чайники! – догадалась Лиза.

– Наверное. Или сковородки. Анналы умалчивают. Только даты.

Лиза подошла к высокой светлой горке с зеленоватыми стёклами неоконной толщины, огранёнными по бокам.

– Орех, – сказал Андрей. – 1897 год. Пошли дальше. Мы

здесь редко бываем, перемещение во времени давит иногда на психику. Тут проживает тот, серебряный, воздух.

Лиза и в самом деле почувствовала лёгкое головокружение, зрение затуманилось, покрывая всё кругом нежным флёром.

– Ощущаешь? – усмехнулся Андрей. – Это гравитация, она тащит нас в своё время. Пойдём, милая барышня. Нас, филологов, ждут большие открытия.

Следующую комнату они осмотрели мельком, из дверей. Когда-то это была гостиная. Изящный диван, полукресла, обитые гобеленом, комод со множеством статуэток и старых контрастных до рези в глазах фотографий. В эркере – кабинетный рояль. А посередине комнаты – пара современных письменных столов с офисными креслами.

– Классика и современность, – пояснил Андрей. – За этими столами работают два доктора наук. Один – папа, другой... другая – мама. И страшно порою научно жучатся между собой, хотя работают в разных отраслях знаний. Их ссорит мировоззренческий подход.

– И только? Значит, у вас счастливая семья.

– А теперь, – Андрей слегка приобнял правой рукой Лизу, вновь подивившись её хрупкости, – гвоздь нашей программы. Пойдёмте, барышня.

Они подошли к массивной одностворчатой двери, на которой висела табличка – по тусклой старой бронзе изящными вензелями вилась надпись: «Профессор М. К. Непри-

творный».

– Повесть о Мефодии без Кирилла! – объявил Андрей, отворяя дверь. – Прошу.

В этой менее просторной, чем прежние, комнате было прохладно и как-то по-особенному тихо, хотя форточка стояла распахнутой настежь.

– Не закрывается уже более ста лет, – сказал Андрей. – Даже в те годы, что оставили уже продемонстрированные неизгладимые пятна.

От высоких стеллажей, уставленных книгами в порыжевших на гнибах кожаных корешках с проблесками золотого тиснения, исходил едва уловимый музейный дух. У правого стеллажа высилась стремянка, напротив окна стоял массивный письменный стол, обитый зелёной тканью, рядом стояло кресло-качалка, в котором лежал клетчатый шотландский плед.

– Располагайся, – Андрей указал на качалку, помог Лизе устроиться и заботливо укутал её пледом. Присев на краешек стола, Андрей с улыбкой наблюдал за ней.

А Лиза, согревшись, вдруг ощутила такой покой, словно все её проблемы и молодые терзания остались за этой массивной дверью, охраняемой от натиска времени старой бронзовой табличкой.

– Прежде, – пояснил Андрей, будто угадав Лизины мысли, – она висела на входной двери, потом её сняли как устаревшую, а когда прадед взбунтовался, он нашёл её и велел

повесить на свой кабинет.

– Взбунтовался? Против кого?

– Прадед, представь, обвинил себя в невиданном злодеянии против России и русского народа. Ни больше и ни меньше. Считал, что именно он, Мефодий Непритворный, оказался тем злым духом, орудием дьявола, который разрушил святую Русь, растоптав её истоки, её сакральность и её веру. Здесь, в этой качалке, он проклял себя прежнего, потребовал к себе священника и затем ушёл в свой кабинет, затворившись там, будто в схиме.

Лиза слушала приятный низкий голос Андрея и чувствовала себя как в детстве, когда, лёжа в тёплой и мягкой кровати, внимала старым сказкам о злых волшебниках. Как и тогда, она не знала, верить ли тому, о чём ей рассказывали, или то была просто сказка на ночь, такая же странная, нездешняя и загадочная, каким выглядел весь этот дом. Во всяком случае, глаза её начинали слипаться. День, что и говорить, выдался насыщенным. Насыщенным тем, о чём она грезила давно.

А Андрей спрыгнул с края стола, обошёл кресло-качалку и положил руки на его высокую гнутую спинку.

– Эта надпись, – негромко говорил он поверх Лизиной головы, – появилась 12 апреля 1961 года, когда Гагарин взлетел в космос, и весь советский народ ликовал, веря в своё прекрасное будущее и высокое предназначение.

Андрей резко потянул на себя спинку, Лиза взлетела

вверх, выпрямившись. От неожиданности у неё захватило дух, а перед её взором открылось поле зелёного потёртого сукна, на котором то ли красным карандашом, то ли фломастером было крупно выведено: «**Шрифтъ**».

Глава одиннадцатая

Самотёсов тоскливо смотрел на дисплей, давно лишённый питания и, как следовало из элементарной физики, права на жизнь, но, тем не менее, исправно светящийся и в данный момент забрасывающий себя грязью. Стройные шеренги римских цифр распались, разваливались на мелкие чёрные комки, а затем брызгами рассыпались по экрану, стекали по нему грязными пятнами, вновь выстраивались в шеренги чисел и снова атаковали. Это было требование, это был вызов.

И Самотёсов не прятался от этих уже понятных ему инвектив, не филонил и не тянул время, потому что это не имело смысла. Он просто хотел понять, ощутить своё нынешнее состояние. Не то чтобы Андрей цепенел от страха, а инсталляция, обозначившая могильную плиту, парализовала его своей скорбной сутью. Нет, ведь только что увиденная реальная Хахуня была одна такая на свете, значит, он по-прежнему находился в своей системе координат. А куда человек жив, даже при виде ожидающей его петли в нём лишь мощным пожаром разгорается инстинкт самосохранения, но мысль о том, что вскоре – через час или сутки – он станет другим «никаким», непосильна его сознанию. Человек или жив или его нет, промежуточного состояния не предусмотрено в инструкции, выдаваемой людям при

рождении. Только «on» или «off». Да и инстинкт самосохранения по большому счёту для смертного что неработающий тормоз: сколь ни дави на него, а летишь, летишь...

Панику сеяло иное. Понимать в теории, а, скорее, в предчувствии, в промельке сознания, что в природе (physis) существует неисчислимое количество физик или, продолжая тавтологизировать, физика заключает в себе целый сонм природ, изолированных друг от друга в непроницаемую фольгу сингулярности и циркулирующих по своим орбитам внутри своего образующего атома – это одно. Но вот связалось что-то в этих физиках, в природе, что-то прорвалось, пробилось сквозь непреступные плотины сингулярности, или замкнулось по чьей-то воле, и из иных, непознанных и даже неосознанных глубин природы, куда нет доступа, дохнула ещё не смерть, но точное её определение: nullis – никакой.

Андрей подошёл к окну, приоткрыл его. На улице накрапывал дождь, было немного душно. Кондиционеров Самотёсов не любил. Всё тот же, только остуженный, воздух казался ему мёртвым, а ощущение при этом такое, словно находишься на подводной лодке – замкнутое и тревожное.

Он вернулся к компьютеру. Неизвестный провайдер по-прежнему забрасывал монитор грязью.

«Ладно, – решил Самотёсов, – если я не могу отключить ноутбук, значит, от **этого** отключиться нельзя. Чего тянуть?»

Он быстро и чётко отстрелялся по костяшкам клавиатуры, секунду помедлил, потом указательным пальцем решительно утопил клавишу «Enter».

«Сгорела хата – гори забор!»

В тот же миг обстрел прекратился, две шеренги римских цифр, разделённые минусом, вновь ощетинились засечками, а ниже левой налилась кровью и запульсировала строка:

«28 апреля».

«Значит, принято, – Самотёсов пристально, затаив дыхание, смотрел на экран. – Ваш ход».

И он последовал. Под правыми цифрами зажглась яркая голубая звёздочка. Она мигнула и переливалась, увеличиваясь в размерах, вытягивалась и, наконец, рассыпалась, оставив после себя такую же пульсирующую строку. Но она почему-то не читалась, а просто бессмысленно и суматошно прыгала перед глазами.

«Нервишки, – подумал Самотёсов. – Стыдно-с».

Он вновь подошёл к окну, глубоко вздохнул и затем с силой через сомкнутые губы в несколько приёмов вытолкнул воздух. Потом ещё и ещё. Это было очистительное дыхание, успокоительные «таблетки» йоги.

«Надо же, синхронизировано с сердцем. Вот откуда провайдер черпает питание. Неплохое динамо мне крутят. Ну, хоть дураком не дадут помереть».

Пульс унимался. Когда Самотёсов почувствовал свои родные 60 ударов, он вернулся к ноутбуку и теперь легко прочёл

утихомирившуюся вровень с его сердцем строку:

«23 июля».

«Что ж, – Андрей пытался вновь не влететь в мандраж. – Дата как дата. Если не считать, что сегодня 22-ое. Зато теперь полная картина».

И в самом деле, числа, обретшие конкретные даты, смотрелись симметрично, закончено и правдоподобно:

MCMLXXXVIII – MMXI

28 апреля – 23 июля

«А вот не дождётесь», – попытался усмехнуться Самотёсов, однако пальцы, которыми он сжимал «мышь», всё ещё притаившуюся в девонском лесу, подрагивали. «Завтра» звучало, по правде говоря, не слишком обнадеживающе, когда речь шла о жизни и смерти.

Глава двенадцатая

Андрей осторожно опустил качалку и вновь присел на краешек письменного стола.

– Что это? – спросила Лиза, плотнее укутываясь в плед. В некоторых местах он был аккуратно заштопан.

– Так сказать, *spero* моего прадеда.

– Он веровал в ... «шрифть»?

– Из-за него-то и весь сыр-бор. Это такой водораздел, что... Ты вот читала Толстого, например, Гоголя, Лермонтова...

– Представь, что я выучилась читать в пять лет. А в девять одолела всего Куприна. Только «Яму» мама, конечно, спрятала от меня.

– Я имею в виду – в оригинале.

– В оригинале? – Лиза вскинула глаза. В них голубилась растерянность. – Не понимаю. Русских авторов...

– Да, русских в оригинале. Именно.

– В рукописях, что ли?

– Не в самих рукописях, конечно, но так, как в них было.

Погоди.

Андрей пододвинул стремянку к полкам и забрался на неё. Он водил пальцем по корешкам книг, доставал одну из них, спускался ниже, вытаскивая очередной том. Наконец спрыгнул на пол и положил на стол перед Лизой солидную

стопку.

– Вот извольте, барышня. Пушкин, Гоголь, Тургенев Иван Сергеевич, Блок, прочие. И заметьте, все – прижизненные издания. O`naturel, то есть, как принято нынче изъясняться, в натуре.

Книги различались форматом, толщиной, однако был схожи какой-то солидной забытостью: неяркой, но добротной, хотя и несколько истёртой, пожелтевшей...

Глава тринадцатая

В академической тусовке начала прошлого века Мефодий Непритворный слыл действительно крупным учёным и мелким идеалистом. Работы его в области орфографии числились классическими, именно ему выпала честь окончательного оформления литературного языка, создаваемого, начиная с Карамзина, светилами отечественной словесности. Учёный был милостиво принят и ко двору, где он просматривал и утверждал по части орфографии все значительные указы его императорского величества. Обыкновенно он читал лекции в своём Московском университете, а наездами – и в Петербургском, где студенты за глаза называли его Кириллом Мефодьевичем. Молодому ещё профессору льстило сие. Разумеется, он знал об этом прозвании, тонко играющем на рокировке имени и отчества, что как бы приближало его к равноапостольным святителям, однако полного счастья не испытывал. Больше того – частенько он чувствовал в себе некий разлад, ибо давно уже ощущал желание, порою неодолимое, разрушить то, что созидал и лелеял, что вознесло его на профессорскую кафедру и в придворные эмпиреи.

Мефодий Кириллович отчаянно тяготился своим факультетом, серым и унылым в сравнении с естественнонаучными, где блистали в ту пору Мензбир, Тимирязев, Павлов,

Умов. Там были идеи, заваривалась увлекательнейшая научная каша, вызывающая ажитацию в обществе. Дарвинист Мензбир и ярый его противник ректор Тихомиров читали лекции в соседних аудиториях. Сабанеев и Зелинский разрабатывали углеводороды, приобретя затем этими работами мировую славу. Потрясал Тимирязев. Они приятельствовали с Климентом, и, заглядывая на лекцию коллеги, Мефодий видел, как под весёлое топанье и аплодисменты студентов влетал в аудиторию взволнованный нервный, с тончайшим лицом Тимирязев, неся под мышкой арбуз, как стекались, подтягивались в аудиторию со всех факультетов и курсов. Однажды Климент бросил перчатку вызова властям и вышел из университета, а затем, гонимый, добился-таки своего.

На филологическом же царствовали тишь да степенная устоявшаяся гладь. А меж тем Мефодий Кириллович чувял в себе дух реформатора и ежели и являл собою эдакого червя книжного, то червь этот исподволь точил основы, грозя обратиться в грозного, извергающего красные зарева пожаращ, дракона.

Образованнейший и обладавший тонким научным чутьём Мефодий Непритворный, возможно, был единственным в огромной империи, кто ясно ощутил истинный механизм преобразований Петра I. Никогда и нипочём не совладать бы тому с неподъёмной гравитацией Киевской ещё дремотной византийщиной, когда бы не вышиб из-под неё два могучих столпа: патриаршество, а пуще того – кириллицу,

оставив её как глотанную кость новосозданному Священному Синоду, для всей же светской жизни утвердив «Гражданский шрифт».

Даже ему, профессору филологии московского университета, не были ведомы имена тех реформаторов, что взломали коды кирилло-мефодьевской азбуки. Но только лишь он один мог вполне осмыслить и оценить их труд. Древний же полуустав был похерен самим Петром, по чьим эскизам, приближённым к западноевропейским шрифтам, военный чертёжник Куленбах изобразил рисунки тридцати двух – по числу зубов – строчных букв нового алфавита и четырёх прописных. Новое многократно опрощённое правописание, став основой императорских указов и создав огромную тягу в сторону заката, вихрем вырвалось из печёр киевских холмов на вольный невиский простор, и молодую Россию понесло теперь неостановимо. Древнее, нынче лишь поповское, слово чем дальше, тем пуще становилось невнятным народу глаголением...

Глава четырнадцатая

Андрей подал Лизе лежавший сверх невзрачный с виду серого колера том.

– Вот, извольте. Сочинение графа Толстого Льва Николаевича.

Лиза приняла книгу, и хрестоматийнейшее, надёжно забитое в сознание русского читателя, даже едва грамотного, заглавие, проблёскивая истёртым золотом, сразу бросилось в глаза, зацепив их, словно соринкой, непривычным изображением: «Война и мир».

– «Война и мир», – медленно, будто впервые, прочла Лиза. – «И мир», – вновь повторила она, поражаясь вдруг вновь открывшемуся значению, будто та, кажущаяся, соринка растаяла, растеклась мягкой влагой, делавшей всё видимое более выпуклым и объёмным. Слово война понималось обычно, а «мир» осмысливался не только лишь отсутствием войны, но огромным, вселенским, всепобеждающим пространством.

Лиза молча взглянула на Андрея, словно бы ища у него ответа.

– Проходили уже на своём фাকে «Гражданский шрифт»?

Лиза отрицательно качнула головой.

– Я ухожу из университета, – сказала Лиза. – Вернее, перевожусь пока на заочный.

«Я тоже», – подумал Андрей. Эта мысль хоть и зрела в нём давно, однако сейчас, в эту минуту, она отчего-то превратилась в твёрдое решение. Видать, гравитация сшибла их обоих с накатанной орбиты, а может, напротив, вернула на истинную, но неизвестную ещё колею. Известно: направленное движение фотонов создаёт свет, а направленное движение судеб...

– Зачем? – спросил Андрей, хотя и знал, и предугадывал ответ и не хотел, конечно, его слышать.

Лизины глаза то голубели, то вновь отливали синевой, становились глубокими – как небо, когда на солнце набегает облачко.

– Затем, что всё случилось. Я ведь не скрывала. Теперь мне откроются контракты в Париже, Осло, Нью-Йорке. Ну, потому, понимаешь, чтоб подняться на высокий подиум, нужно прежде...

– Поскользнуться, – помог Андрей.

– Упасть, если хочешь пасть. – Лиза не приняла его эвфемизм. – Не суть как это назвать, важно, что я не могу тебе врать. Иначе то, что случилось сегодня, станет как бы неправильным, а что должно случиться, окажется правдой. А всё ведь наоборот. Хотя всё путано и странно.

– Война и мир. Сказано ведь. – Андрей вдруг ощутил иную гравитацию: тяжёлую, вяжущую, сковывающую.

– ... «и міръ», – повторила Лиза. Она всё ещё сидела в калчке под прадедовым пледом, хотя Андрею казалось, будто

она уже уходит от него какими-то долгим сумеречным подиумом всё дальше, профессионально вздёргивая длинные юные ноги.

– Ладно, – Андрей соскользнул со стола и встал лицом к книжным стеллажам, – вернёмся к нашей филологии.

Глава пятнадцатая

Беда была в том, что Мефодий Непритворный пребывал в некоей душевной распятости. Ему, по чести сказать, ничего не мешало в этой, поверхностно глядя, тихой и степенной российской жизни. От дома в нешумном уголке Хамовников до Моховой пешего ходу было минут двадцать, и этот моцион стройному, элегантному господину, неспешно шагающему по сонно размыкающей свои глаза Москве, задавал нужный сдержанный тон при встрече со становившемся год от года всё более разношёрстным и разночинным студенчеством. Любил молодой профессор и столичный Петербург с его белой летней магией, а в тайниках души хранил доброе, почти нежное чувство и к царской фамилии. Он видел её лишь однажды на высочайшем представлении в Царском селе, и ему живо запомнились великие княжны, тогда ещё совсем девочки, стоявшие нарядным каре подле императрицы (наследник тогда не присутствовал) и сам император – невысокий мелкой кости подтянутый человек с приятными тонкими чертами лица, надменным высоким лбом и ускользающе-доброжелательным взглядом больших, слегка навывкате глаз.

Молодой профессор ничего не хотел бы менять в этой жизни и поэтому манкировал наносы отечественной политической жизни. Однако чутьём незаурядного исследовате-

ля не мог не ощущать, что где-то в середине, в самой гуще этой внешне дремотной Москвы, и окрест уже заколобродили какие-то новые, низовые, холодные, как подземные ключи, течения общественной жизни, которым необходимо было соответствовать.

Куда прорвётся эта, пока андерграундная, подспудная, улавливаемая лишь наиболее обострёнными чуткими душами струя, Мефодий Кириллович не постигал. «Ангелы хрустальные, звоны погрѣбальные» – привязчиво, рефреном звучали в нём два разных вектора, уже не столь отдалённого будущего. Какой из них возьмёт верх – неведомо. Однако то, что приготавливался новый, масштаба Петра, слом в российской жизни, он не сомневался и готовился к нему. Полагал, образуется всё к вящему благополучию и процветанию державы, однако в одном был уверен свято: именно он, профессор Непритворный, оказался нынче на лобном месте, и когда развихрятся силы неведомой пока, но уже неодолимой гравитации, лишь ему будет дано спрямить, направить их в единое русло.

И он трудился. Код кириллицы, взломанный дьяками Петра, зиял развёрстой, неряшливо раскассированной азбукой, словно в запруде было вынута несколько кирпичей, дабы стекла застоявшаяся вода, да так и брошено, а остатки плотины всё ещё сдерживали нависающую громаду неизбытой потаённой силушки, что способна была девятым валом прокатиться, пенясь и буйствуя, по городам и весям империи,

стирая с неё внешний лоск и оставляя после себя посконную изнанку. Отныне Мефодий Непрিতворный ощущал себя согбенным под этой нависшей тяжестью одиноким атлантом, ибо никто опричь него не мог осмыслить затаённой угрозы. Он становился единственным опричником, и не видно было тех прежних грозных царей, на которых бы можно было опереться. Он теперь знал: необходимо работать быстро, а коль невозможно вернуть всё обратно и заделать плотину, стало быть, оставался лишь один выход – обрушить её до конца теперь, пока не объявились иные опричники и иные цари.

Начал он, впрочем, уже давно. Попервах издалека, как бы невсерьёз, для разгону с тех самых привязавшихся «ангелов». С чего бы, думалось ему, во множественном числе иметь тут эдакое женственное окончание – «хрустальные». То же – «погребальныя». Проблема здесь касалась не только орфографии, но и орфоэпии. Получалось, обе следовало ломать через колено. Ломать по живому. Не завратся бы!

Наконец после долгих раздумий ангелы случились «хрустальные». В результате зазвучали они твёрже, даже жёстче, облетела с них эдакая серебристая пыльца, да и вовсе стихи эти Северянина показались теперь чуткому уху аляповатыми, увядшими.

То была некая мистика! Алхимия! Мефодий Кириллович поначалу, когда строки эти, по иному озвученные, тут же отвязались, испарились из памяти, несколько опешил, даже испугался: не бомбист ли он какой поэтический? Однако

вскоре успокоился, увлёкся, да так, что всё иное забросил. Теперь он зашёл с другого боку, покусившись на местоимение «ея». Тут орфоэпически всё было верно: чисто дамское звучание. Однако, как на его настроенное уже на иную словесную музыку звучания ухо, отдавало всё теми же ангельской аляповатостью и фонетическим цирлих-манирлихом. Тут было над чем поразмыслить. Непритворный, шагая привычной дорогой в университет, теперь каким-то новым зрением поглядывал на изящных барышень в пролётках, на пожилых, тёртых жизнью баб в платках, с тяжёлыми корзинами в руках, несущих бельё в соседнюю прачечную, на резвых девчушек и прикидывал: «ее»? Но не звучало: твердо-вато и вовсе безлико. Надо бы смягчить, сгладить. Но как?

Однажды на Арбате он проходил перекрёсток и, задумавшись, едва не налетел на дворника. Тот, сильно матерясь, глядел себе под ноги, на тротуар, где лежала, ещё дымясь, обширная куча навоза.

– Вот же, ёп, откуда оно тут?! – буйствовал здоровенный воблолицый мужик в шляпе с подхватом, сияя дворницкой бляхой на латанной косухе. – Это чья ж тут кобыла, ёп, прям по пешеходному месту безобразничает!

– Её! – вырвалось тут у Непритворного.

– Уёп?! – поразился дворник, пляясь вдавленными глубоко в череп глазами на приличного господина.

Но профессор уже шёл дальше, повторяя: «её», «её»... Вот оно, легло как в лузу! Чья кобыла? Её. Чьи ангелы? Её.

Не ея. Не хрустальные.

Это звучала уже иная речь. Несомненно русская, но новая, вешняя, взламывающая вековые льды орфоэпии. Мефодий Кириллович ощущал в себе необычайный подъём творческого начала, к тому же был один из немногих, а могло статься, и вовсе в единственном числе, кто прозревал весь масштаб этого не просто научного – орфоэпического, орфографического, но воистину эпического сдвига в жизни общества. Так безвестная лошадь, нелепейшим образом осрамившаяся на арбатском тротуаре, понесла русскую обветшалую телегу по буеракам не так давно вступившего в свои права XX века.

Мефодий Кириллович работал с той поры одержимо, имея в виду патриотичнейшую цель: успеть отлить современную азбуку, достойную надвигающейся эпохи. Он ободрился, глядел орлом и теперь внутренне на равных, а то и с некоторым превосходством общался с ещё недавно непревзойдёнными естественниками. Это вам не пиявок кромсать, коллега Мензбир, не арбузы на лекции приносить, дорогой Климент. Тут каша заваривается, брат ты мой!

А на очереди стоял алфавит: дело трепетное, коренное. В ту, петровскую, реформу его изрядно расчистили, изъяв все греческие буквы, однако же с умом: назойливо мелькастый «ерь», символизирующий твёрдость русского слова, как бы скреплял своим избыточным обилием прореженный новояз и держал, держал, изнемогая, становившуюся всё бо-

лее непосильной плотину.

Чем далее, тем яснее вырисовывалось, что не так-то просто была раскассирована кириллица. Расчищая, словно болотистые почвы под Невский прямой проспект, Пётр спрямлял её, разворачивая ветрила новой азбуки на норд-вест. И притом, будучи шкипером опытным, запасся двумя надёжными якорями, не дающими российскому судну уж совсем прибиться к чужому берегу. Якорями этими были тот самый «ерь» да ещё «ять» – буквы излишние, давно утратившие своё фонетическое и орфоэпическое значение. Однако они-то и держали плотину, охраняя её как два цепных ярых пса.

«Что ж, сразимся с бестиями, сразимся», – думал Мефодий Кириллович, всё не решаясь приступить к делу, всё оттягивая, перенося его на завтра.

Но наконец день настал. Как помнится, пасмурный, клонящийся уже к зиме – 25 октября 1913 года. После лекций, воротясь домой, он велел Фоминичне, приходящей кухарке и прибиральщице, подать в кабинет лафитник с холодной смирновской и заедок. После запер дверь, задёрнул шторы и сел за стол. Сукно, ещё новое, яркое даже в полумраке, неистёртое, походило на игорное поле, где хорошо разложить пасьянс, продумывая очередные лекции. Однако сегодня оно будет полем битвы, на коем он, профессор Непритворный, одержит викторию, хоть и не столь громкую, как Полтавская, но несравнимо более полную. Главный орфо-

граф империи знал это наверное, как и то, что нынче он станет рубить сук, на котором недурно примостился, выслужив в свои тридцать восемь лет действительного статского советника и потомственное дворянство. Однако иного выхода для себя уже не видел.

Профессор плеснул в гранёный стограммовый стаканчик водки прямо до краёв, выпил, два раза крупно глотнув, заел севрюжиной и огляделся по сторонам, как бы прощаясь. Всё оставалось пока на местах нерушимо, несдвигаемо. Ещё можно было остановиться, бросить как оно есть и не задираться с собаками, ибо кто знает – не *domini* ли сии *cannes*? Не Божьи ли то псы?

Непритворный крякнул досадливо, чувствуя, как истончается его подъём духа, и вновь сполна плеснул в стакан из запотевшего лафитника. Водка, взятая со льда в подвале, тонко серебрилась в полутьме.

Мысли же накалялись алым жаром. Ему припомнились несчастливые лица офицеров, срезавшихся на приёмных испытаниях в академию Генерального штаба, где он попечительствовал экзамены по русской словесности. Даже выходцы из древних фамилий, блестящих гвардейских полков, отнюдь не кухаркины дети и не вертопрахи путались в «ятях». А превозможет ли простой мужик от сохи эти премудрости, обминёт ли стерегущих Гражданский шрифт цепных псов?

– Фигу-с! – Непритворный опрокинул в себя стаканчик, не закусив, решительно поднялся из-за стола. Освободитель-

но, рывком, расправил плечи. И будто бы почувствовал, как затрещала при этом, лопааясь по истлевшим швам, гоголевская шинелька. «Выросли мы из нея... Вот именно-с, из неё! И давно».

Профессор составил водку и корзинку с заедками обратно на поднос и вынес всё это на кухню. Звать глуховатую Фоминичну из дальней её каморки, где она подрёмывала между дел, было себе дороже.

Возвратившись, он сел вновь за освобождённый от всего лишнего стол, положив перед собою давно приуготовленную для нынешнего действия азбуку.

– «Аз», «буки», «веди», «глагол», «держава», – громко, с аффектацией, словно некие скрижали, а не простенькое церковно-приходское издание, читал профессор, кивая головой при каждой букве, как бы кланяясь ей. – «Еда», «ерь». – Тут кивка не последовало. Тут была остановка.

«Ерь» – даже и в самом названии, прежде твёрдая полугласная, а от Даля – и вовсе безгласная, эта буква содержала самоё себя. Бессмысленная в конце слова, придающая и без того твёрдой согласной самое «грубое, тупое произношение», как записал в своём словаре Владимир Иванович, предполагая «откинуть» её здесь и вовсе, она всё так же тупо и упорно цеплялась за слова, мельтеша назойливо, скача от строчки к строчке, перед глазами всякого читающего, будто исполняя какой-то загадочный ритуальный, давно утративший свой смысл танец.

Мефодий Кириллович чувствовал, как разливается в нём желчь, как уже изготовилась рука обмакнуть перо в бронзовую львиную морду чернильницы, но всё медлил и злился за это на себя. Раздражала не сама, пусть и нахальная, но всего лишь буковка, а то, что не умел постичь, отчего дьяки Петра не покусились на неё – технически ведь это было всего проще, да и Даль Владимир Иванович не заявил категорически, но исключительно лапидарно, сослагательно: «могло бы быть откинута».

Могло... Но не откинута и по сей день «ерь», как минойский Минотавр, изводил, пожирал драгоценную бумагу. Каждый тридцатый том в библиотеке профессора был данью этой ненасытной безгласной.

«Положим, – подумал он, – они не сделали. Знать, время не подошло. Но теперь-то, теперь уж...»

Не закончив мысли, Мефодий Кириллович зачерпнул из львиной морды толстым пером чернил и тяжёлой, вдруг замлевшей рукой обрушил жирный крест поверх азбучного «ера».

– Кончено дело! – облегчённо выдохнул профессор. – Нет такой буквы отныне. Только знак. Твёрдый разделительный знак. Потом приищем ему подходящее место.

Непритворному снова захотелось водки. Та, впрочем, видимо, уже нагрелась, да и идти за ней – только время терять. Не надо было уносить...

Он чувствовал необычайный прилив энтузиазма, какого

не было с тех пор, когда он делал свои первые шаги на поприще орфографии. Но нынче к этому прибавлялось ощущение не кабинетного рутинного соискательства степеней, а живой научной работы.

Мефодий Кириллович выдвинул ящик стола и рукою, незряче, нащупал там старую, отцовскую ещё, трубку вишнёвого дерева. Баловаться табаком он бросил два года назад, мало того, с тех пор не велел ни в какую пору закрывать в кабинете форточку, чтобы табачище напрочь выветрился из драгоценных книг. Разве что в Крещенские морозы её наполовину придвигали. Однако сейчас он чувствовал потребность ухватиться за что-то привычное, утвердиться, поскольку уныривал всё глубже и глубже от того, на чём стоял вот уж сколько лет. Уныривал, впрочем, с радостью. Всплыть бы вот потом...

– Ну-ка, ну-ка, что мы имеем далее? Так, прелестно, далее имеем «еры», – кивал он головой. – Кстати, буква сия образована от всё того же преупорнейшего «ера» и «иже». Идём далее. Ага, «ерь»! – Новый кивок головы. – «Ерикъ», «паерикъ», «паерчикъ». Куда ж без тебя, милая мягкая полугласная, утешительница наша!

Следующей, тридцатой, по алфавиту числилась та самая «ять», к которой и подбирался Мефодий Кириллович, а когда подобрался, уже чувствовал в себе достаточно реформаторского куража, чтобы без раздумий зачерпнуть чернил из бронзовой морды и недрогнувшим пером вычеркнуть

«ять» из русской мысли. Он был здесь твёрд – в отличие от «ерь». Тут профессор понимал, почему петровские дьяки не похерили эту букву: в ней хранились древние речевые отголоски, тут был свой фонетический смысл, а потому и слово «Ъда» писалось через «ять», а не через собственно букву «еда». Уже ко времени Даля смысл и значение двугласной буквы этой были утрачены до того, «что правописание через неё стало шатко». Именно!

– Быть отныне по сему: «Ъде» писаться чрез «еду»! – дурашливо, ёрничая, продекламировал Непритворный в расхожей манере сочинителей исторических романов. И тут же увидел себя как бы со стороны: в левой руке, на отлёте – вишнёвая трубка, в правой – взвившееся стило. Ну, как есть шут гороховый, рядящийся в чужие тоги, Мефодий Кириллович не жаловал театральщины, дешёвого юродивого народничества: «Азь, буки – а там и науки», всего наносного, суетного. И то, что он поддался какой-то непривычной ажитации, смутило его. Не диавол ли подталкивал его под руку?

Он бросил обратно в ящик стола злополучную трубку, вернул на чернильный прибор ручку, встал, подошёл к образу. Христос со старой, пятнадцатого века, доски древними глазами всматривался в него, впрочем, ничего не спрашивая. Он знал всё и без того. В образующемся сумраке – время было к шести часам да ещё плотные шторы – глаза Христа всё одно проницали сгустками зрачков.

И хотя профессор полагал на сегодня разобраться ещё

с одной буквой, «фитой», где ему не всё ясно было пока, решил далее не продолжать.

Он вернулся к столу, включил лампу под огромным зелёным грибом. Свет сгрудился вокруг неё, оставляя большую часть кабинета в полумраке. Книги на высоких стеллажах как будто отодвинулись, затаились, сливаясь в ровные ряды. Впервые профессор не почувствовал тесного единения с ними, и это было новое неприятное зябкое чувство, похожее на одиночество.

Мефодий Кириллович поёжился, плотнее запахнувшись мягкой синей фланели домашней курткой. С улицы струился уже остуженный осенью вечерний воздух. Но ни в том было дело. Зябкость эта образовалась где-то внутри, словно что-то отрывалось в нём безвозвратно и безысходно. Будто бы та худая, насквозь выношенная шинелишка Акакия Акакиевича, мысленно сброшенная с себя профессором с час назад, вдруг открыла его не новому, свежему чувству, а лишь впустила сквознячок холодной пустоты. Да и кабинет его, оснащённый сотнями томов самой передовой мысли, вдруг предстал пыльной лавкой старого букиниста.

В большой квартире властвовала давящая, не пуганая людскими голосами тишина. Фоминична, собрав, как водилось, на стол ужин и накрыв его толстой теплозащитной периной, ушла уже, дабы ещё по свету добраться до своего Кривоколенного переулочка в Зарядье. Какого именно среди них – Мефодий Кириллович запомнить никак не мог.

«Жениться бы надобно, вот что», – неожиданно подумалось ему...

Глава шестнадцатая

Андрей давно уже включил зелёную лампу, мягко освещавшую широкую плаху стола, оставляя всё прочее в затаённом полумраке. Он стоял теперь посреди кабинета, разверстав указательно руки в стороны уходящих во мрак потолка книжных полок.

– И вот понимаешь, Лиза... Лиза! – Девушка не отозвалась. – Понимаешь, как выходит оно. Вся русская великая литература, все эти тома были созданы вот тем, отстойным, на наш теперешний взгляд, Гражданским шрифтом, старым словом. А после ничего подобного уже и не было. Вроде бы – отшлифованная, доведённая до максимального прагматизма и доступности азбука, а слово-то настоящее ушло, будто сдулось. Лиза! Эй, ю а о`кей?

Он подошёл к креслу. Лиза была вполне о`кей. Она тихонько спала. Андрей хмыкнул и впервые за весь нынешний вечер по-настоящему расслабился. Вид спящей молодой женщины был подобен умиротворённому морю, тихо плещущемуся лунной ночью у самых ног. Андрею, когда он высвобождал осторожно Лизу из пледа и брал её на руки, казалось, что и свежим морским воздухом повеяло в старом кабинете. И легка была Лиза, как ветерок, однако Андрей знал: это самая большая добыча за все его прожитые почти девятнадцать лет.

В аскетичности и долготерпении этом мало было от некоей старомодности или клерикальной заповедности, скорее, точный расчёт: чем менее вступишь в себя популярных заморочек от мира сего, тем дольше сохранишься в нём неистратившимся, первоначальным. Ведь что-то, какая-то микроскопическая капля крови Адама, первого мужика на деревне Земля, растворённой в тысячах последующих коленах, той, не замороженной Евой крови, течёт в его жилах. И пока не замутил, не разбодяжил эту каплю, ты ещё жив пацанским светлым щенячьим счастьем.

Нельзя сказать, что это давалось Андрею легко, соблазнов валялось по обочинам его тропинки навалом, и он вовсе не сооружал посреди этой жизни некую лакуну схимы и поэтому сейчас, бережно сжимая в руках Лизу, знал, что всё не зря, что она такая же, как он, только пришла с иного, ещё не ведомого ему берега.

Однажды, гостя у бабушки Вари в Муроме, Андрей наблюдал, как пожилой маляр с пьяненьким тщанием выводил белой краской на дверях дощатого околичного сортира буквы «М» и «Ж». Теперь он понимал: то было и самым невинным и в то же время остро сексуальным магическим действием, где половой вопрос предстал во всей своей великой тайне. «М» и «Ж» вроде бы рядом, в одной койке, однако меж ними всегда та тонкая, но непроницаемо-сингулярная дощатая перегородка предместной уборной, разделяющая их на две цивилизации, на два разных подиума во Все-

ленной.

Вид доверчиво спящей на его руках девчонки примирил Андрея с той прагматичной непосредственностью, с которой она разбросила женские ловчие сети, о которых толковал ещё Екклезиаст. Ведь, по чести, он и сам был тут ловцом. Они вместе хотели занырнуть в ту тайну, что обозначается литерами «М» и «Ж» в чистом, ещё от детства, исподнем, ощутить её незамутнённую поднебесность, а там уж дальше – как сложится.

Андрею удалось, не разбудив, высвободить Лизу из халата, и он уложил её, откинув ногой одеяло, на свою кровать. В комнате было тепло. Потом разделся сам, пристроился рядышком. Он впервые лежал в одной постели с женщиной и теперь с молодым, нерастраченным, яростным интересом сканировал свою добычу. Лунный свет из окна не отражался и не поглощался стройным юным телом, а вроде бы танцевал серебряный медленный танец на её светлой коже, набрасывая мягкими тенями графику её силуэта. Изгиб шеи переходил в плавную округлённость узких плеч, удерживающих маленькие крепкие груди, склинивался к бёдрам, вновь округлялся и, прокатившись по длинным сбегаящим к тонким щиколоткам ногам, замирал.

Андрей вдруг понял: вот он – истинный бренд! Не Гуччи, не Бриони, не Како Шанель. Те просто строчили чехлы, скрадывая его пёстрыми тряпками. Быть может, Лиза и чувствовала, знала это, вознося на подиум не прославленные

в суетном звёздном мире тряпки с раскрученными вензелями, которые впопыхах за кулисами то стаскивали с неё, то цепляли снова, а этот непревзойдённый бренд. Ощущала себя не живым манекеном, ходячей вешалкой дорогой коллекции, а, напротив, несла истинную ценность в веригах цветных лохмотьев. Кто знает, как мыслят женщины, что дано им знать. Мужик может просто обалдеть от этого тела, гравитация вынесет его самую крайнюю плоть ему навстречу, как ощущал сейчас Андрей, однако, наверное, лишь женщина может до конца оценить то, каким всепобеждающим дизайном облекли её кости и внутренности при рождении. И тогда её всегдашнее смешное кокетство, идиотское жеманство, лихорадочное стремление уцепиться за уходящий с возрастом бренд оборачиваются знанием! Знанием тайны.

«Нет, – думал Андрей, глядя на тихо спящую обнажённую Лизу, – не похоже это на облезшую в нечеловеческой погоне за гламуром дарвиновскую обезьяну. Нет, сэр, вы не джентльмен! Женщина – не шуба, истёршая за долгие годы свой первобытный мех. Тут сработал великий дизайнер».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.